Паранойя. Почему мы?

Автор:
Полина Раевская

Паранойя. Почему мы?

Полина Александровна Раевская

Паранойя #3

Он бросил меня, я посадила его за решетку. Между нами ненависть, боль и миллион "почему?". Но ответив хотя бы на одно из них, можно ли простить? И есть ли шанс начать заново?Содержит нецензурную брань.

Полина Раевская

Паранойя. Почему мы?

Глава 1

«Пусть мы и сами знаем, что оступаемся, знаем даже раньше, чем сделали первый шаг, но ведь это сознание все равно ничему не может помешать, ничего не может изменить.»

К. Макколоу «Поющие в терновнике»

– Ну, привет, Настюш. Не ждала? – первое, что произносит Долгов, проходя в мою спальню.

Это его насмешливое пренебрежение и ленивая походочка сытого котяры действуют на меня, как красная тряпка на быка. Такой едкой, жгучей злобой захлестывает, что я едва сдерживаюсь, чтобы не зарычать, как бешеная зверюга и не броситься на этого ухмыляющегося козла.

Мне хочется расцарапать его наглую физиономию, разбить ее в кровь, разорвать на кусочки за это паясничество в самые горькие для меня минуты, за всю боль и горе, что я проживаю.

Перед глазами проносятся все те унижения и отчаянное бессилие, когда я переставала чувствовать себя человеком; когда на коленях ползала перед Можайским, умоляя о помощи; и каждую ночь, сидя в кладовке в ожидании очередных побоев, звала Долгова или просила все небесные силы сохранить моего малыша.

Я прокручиваю это снова и снова, и ненавижу. Кто-то где-то писал, что больше всего мы ненавидим тех, кого когда-то любили, и он прав. Убеждаюсь теперь в этом на все сто. Даже Елисеев и Можайский в списке самых ненавистных мне ублюдков уступают место Долгову. Ненавижу его за все, что он сделал, а главное – за то, что не сделал, хотя мог бы и должен был.

Однако вместо того, чтобы выплеснуть ему в рожу свою агонию, оглушить болью и правдой, впиваюсь обкусанными ногтями в ладони и заставляю свое натянутое, как струна, тело принять такую же лениво- расслабленную позу, и отзеркалить ухмылочку.

Никогда эта скотина не узнает, за что я сражалась и какую цену заплатила. Пусть думает, что предала, не любила, пусть ненавидит, мстит. Мне уже все равно. Главное, чтобы в полной мере прочувствовал, каково это, когда человеку, который еще вчера шептал тебе о любви, на самом деле плевать. Поэтому, неимоверным усилием воли взяв свои эмоции под контроль, приподнимаю снисходительно бровь и, наконец, отвечаю:

– А должна была?

Долгов снова усмехается, только вот во взгляде ни единого намека на насмешку, в нем ярость и едва сдерживаемое бешенство.

– Ну да, че это я? – не скрывая сарказма, парирует он и специально, нервируя меня, медленно обходит комнату по кругу. – Слышал, с Елисеевым путаешься, – начинает он приближаться. Мне хочется попятиться назад, но заставляю себя стоять на месте.

– И? – бросаю с вызовом, вскинув подбородок. Злость придает смелости.

– «И»? – вкрадчиво уточняет Долгов. – Даже так?

– А что, ты из тюрьмы прямиком ко мне, чтобы слухи обсудить? – шлю приторно – издевательскую улыбочку, но он тут же возвращает ее мне.

– Да нет, Настюш, просто решил заехать, вы*бать тебя по старой памяти. Бабы – то твоими молитвами давно не было, а ты, как раз, тут первая по пути.

– Неужели? – скалюсь еще лучезарней, пытаясь скрыть за этим оскалом боль и унижение. Мне так плохо, что я совершенно перестаю себя контролировать, хоть и понимаю, что переступаю черту, которую переступать не следует. – Не хочу тебя разочаровывать, – снисходительно тяну, растягивая гласные, – но ты не по адресу. Благотворительный фонд для лохов и неудачников лучше поискать дома или где там сейчас твоя жена спрятана?

На несколько долгих секунд повисает напряженная пауза. У Долгова от ярости лицо приобретает такой оттенок, что в гроб краше кладут.

– Да ты что? – хищно ощерившись, подходит он почти вплотную и, тут же посерьезнев, с угрозой цедит. – Ты, Настенька, попутала что ли?

– Я попутала? – вырывается у меня ошарашенный смешок. – Нет, Серёженька, это ты попутал. Хочешь спросить с меня за суд? Спрашивай. А с кем я трахаюсь – не твоего ума дела, понял?! Тебе башку что ли окончательно в тюряге отбили или старческий склероз напал? Так давай напомню: ты меня бросил! Послал еще до суда, поэтому иди в жопу со своими вопросами!

В следующую секунду разъяренный Долгов хватает меня за шею и со всей дури впечатывает в стену. Затылок обжигает острой болью, перед глазами темнеет и тут же взрывается мириадами разноцветных мушек. Закашливаюсь, но Долгову

плевать, давит еще сильнее на горло.

– Ты! Сука! Ты кого тут из себя корчишь передо мной? – цедит дрожащим от гнева голосом, обжигая горячим дыханием и своей близостью. В нос забивается противный, тюремный запах, похожий на то, как если бы его одежду несколько дней замачивали в затхлой воде с сигаретными окурками, однако я успеваю в этой вони почувствовать его собственный, ни с чем несравнимый аромат, от которого меня ведет и невольно бросает в дрожь, но Долгов расценивает ее по-своему. – Че кривишься, падла? Не нравится?

– Убери от меня руки! – впившись ногтями в его запястье, хриплю и пытаюсь вырваться, но он наваливается всем весом, распиная меня на стене.

Соприкосновение с его исхудавшим, но по-прежнему крепким, сильным телом, подобно электрическому разряду – прошибает до самых костей. По коже пробегает мороз, и тут же становиться невыносимо жарко. Дышим загнано и смотрим глаза в глаза, готовые разорвать друг друга.

– Трахалась с ним? – выдыхает он мне в щеку, сверля меня взглядом одержимого психа, но мне не страшно, мне горько и противно до слез.

Я потеряла маму, сестру, да все, что у меня было! И это стопроцентно его рук дело, но все, что его волнует – это единственный ли он мужик, побывавший во мне.

Если до этого у меня еще и были какие-то сомнения, что ему не все равно, то теперь от них не осталось и следа. Плевать ему. На все плевать.

Слезы обжигают глаза, но я давлю их в себе. Растягиваю дрожащие губы в ядовитой ухмылке и шепчу:

– Трахалась, Долгов. С удовольствием трахалась, как самая настоящая ебл*вая су… – договорить не успеваю, я даже не успеваю ничего понять, как его кулак впечатывается в стену в паре сантиметров от моего лица.

– Заткнись! – выплевывает он с такой яростью, что кажется еще чуть-чуть и свернет мне шею. Но мне уже плевать, что со мной будет. Меня несет,

прорывает, как назревший гнойник.

– Ну, давай, ударь, – подначиваю, окончательно слетая с катушек. – Давай! Ты ведь только и способен, что винить бабу за то, что сам – слабак и ни черта не смог сделать. Давай бей, я же тебя предала! А вот ты – молодец, настоящий мужик! Бросил меня в самое пекло....

– Заткнись, бл*дь! Закрой свой рот!

– А то что? Что ты сделаешь?

– Убью тебя суку! Убью! – орет он, и бьет по стене снова, и снова, сжигая меня диким, полыхающим взглядом.

Наверное, не свихнись я от горя, я бы уже сжималась в ужасе и билась в истерике. Впрочем, возможно, это она и есть, ибо мне не страшно, меня колошматит всю от хохота. Я смотрю на его сбитый в кровь кулак и смеюсь, как припадочная сквозь бегущие по щекам слезы.

– Тупое животное! – выплевываю с презрением и продолжаю выводить Долгова. – Ну, давай, убивай! Никчемные куски дерьма, вроде тебя, всегда так делают – вместо того, чтобы защищать, сливаются, а потом качают права, когда их меняют на нормальных мужи…

– Да пошла ты, тварь! – замахивается он, я скукоживаюсь в ожидание удара, но Долгов с досадой снова впечатывает кулак в стену. А я уже просто не выдерживаю, меня накрывает звериной злобой, и я бью его наотмашь по лицу.

– Да! Я – тварь! – срываюсь на крик. – Тварь, которую ты бросил, когда надоела и послал для надежности на глазах у всей своей семейки. Поэтому, когда мне сказали, что я могу засадить тебя за решетку, я с радостью согласилась. Я ведь тварь!

Меня разрывает на части от боли, и я снова влепляю ему пощечину. Бью с такой силой, что рука немеет. На мгновение мир, будто замирает. Щека Долгова покрывается красными пятнами. На его посеревшей коже это выглядит ужасно. Впрочем, то, как меняется его лицо от бешенства, по -настоящему пугает.

Пугает настолько, что я, как мелкая, трусливая собачонка, оскаливаюсь еще больше и, глядя ему в глаза, влепляю очередную пощечину: вторую, третью. Долгов сжимает челюсти так, что желваки начинают ходить на щеках. От гнева у него подрагивают сжатые в тонкую полоску губ и как у дракона раздуваются ноздри, того и гляди, огонь повалит, однако он даже не пытается защититься. Давит мне на горло и сверлит диким взглядом.

Я же, окончательно озверев, хлещу еще и еще. Мне мало. Вспоминаю все, что со мной делали, вспоминаю маму, Глазастика и бью, захлебываясь слезами и накатывающей цунами истерикой. У Долгова уже вся рожа красная и разбита губа, а я не могу остановиться, продолжаю лупить, куда придется ладонями, кулаками, чувствуя с каждым ударом еще большую горечь и боль.

– Ненавижу тебя! Всем сердцем тебя ненавижу! Лучше бы ты сдох! – ору вне себя от отчаяния и горя, понимая, что никого и ничего уже не вернешь.

Видимо, это становиться последней каплей. Крепкая рука сдавливает мое горло с такой силой, что в глазах темнеет, и я начинаю, как выброшенная на берег рыба, хватать воздух ртом, но не успеваю ничего понять, как Долгов швыряет меня со всей дури на кровать и уже в следующее мгновение я стою на коленях на полу, уложенная животом на матрас.

Сообразив, к чему эта поза, внутри все холодеет и меня пробивает дрожь.

Я готова быть избитой, искалеченной и даже убитой, но только не изнасилованной. И главное – не им – не мужчиной, которого я любила.

– Нет! Не трогай! Не смей! – начинаю сопротивляться изо всех сил, но Долгов, молча, впечатывает меня лицом в матрас и, не церемонясь, стаскивает до середины бедра мои лосины с трусиками, похабно бросая:

– Вижу, Елисеев – большой любитель кустов.

Этот козел смеется, а я цепенею от унижения, чувствуя, как холодный воздух обжигает мои ягодицы и промежность. С того дня, как я потеряла малыша, старалась даже лишний раз не прикасаться к себе там… Я мылась – то с содроганием. Стоило только коснуться, как снова проживала те страшные секунды и чувствовала на пальцах липкую кровь.

Дальнейшее происходит, как в каком-то кошмарном сне, благо он быстро заканчивается, стоит только Долгову войти в меня.

– Бл*дь! – слышу позади шипение и чувствую, как по ногам начинает что-то стекать. Впрочем, ни что-то, а, наверное, кровь. Не кончил же он с одного толчка.

В следующее мгновение хватка на моей шее ослабевает и Долгов выходит из меня. Я всхлипываю от режущей боли и скукоживаюсь в комок. Живот ноет, разрывает на части. Уткнувшись в матрас едва дышу. Мне уже плевать, как я выгляжу с этими спущенными лосинами и трусами, с окровавленной промежностью. Да на все уже давно плевать. Когда человека ломают, он перестает испытывать стыд и унижение. В конце концов, чего стыдиться, если от гордости и собственного достоинства все равно ничего не осталось.

– У тебя месячные начались, иди в ванную, – произносит Долгов глухо. У меня вырывается истеричный смешок, и я тут же захожусь в слезах.

Месячные. Как же?!

Впрочем, пусть «месячные». Истеку кровью и сдохну. Все равно не хочу больше просыпаться в этом поганом мире. Мире, где за сраные бумажки можно пустить в расход и любовь, и дружбу, и детей, и братьев, и сестер.

– Ты слышишь? – снова раздается надо мной напряженный голос Долгова. Я не понимаю, про что он говорит, да это и не имеет значения. Просто пусть уйдет.

– Оставь меня в покое. Что тебе еще надо? – произношу через силу.

– Вставай. Собери необходимые вещи, мы уезжаем, – ошарашивает он.

Поднимаю голову с матраса и смотрю во все глаза.

– Давай, – с невозмутимым видом кивает Долгов на шкаф, прикладывая к сбитым казанкам мокрое полотенце.

– Ты в своем уме вообще? – все, что могу выдохнуть, ни черта уже не понимая.

– Собирайся! – отрезает он жестко. – Или я тебе сейчас помогу.

Он делает шаг ко мне, я инстинктивно отшатываюсь. Дрожащими руками натягиваю торопливо лосины и забираюсь на кровать.

– Не смей ко мне приближаться! – цежу, отползая все дальше и дальше. Несколько долгих секунд мы смотрим друг на друга, словно видим впервые. И это действительно так.

Я не знаю этого мужчину: не знаю его холодный, безжалостный взгляд и, что за ним скрывается. А главное – какую еще черту он способен переступить, чтобы наказать меня или просто заткнуть.

Оказывается, чтобы человек стал чужим не нужны годы и расстояния, достаточно одного неправильного шага. Жаль только, что его недостаточно, чтобы разлюбить.

Скривившись, Долгов явно хочет что-то сказать, но в последний момент передумывает. Втягивает с шумом воздух, словно призывая все земные силы дать ему терпения и, не говоря ни слова, идет в гардеробную. До меня доносятся звуки выдвигающихся шкафов.

Не знаю, что он задумал и зачем я ему. Ясно одно: я по – прежнему марионетка без прав и возможности выбора.

Не то, чтобы меня это как-то волновало или возмущало… Нет. Мне уже абсолютно все равно, что будет дальше. Не осталось ничего, что со мной бы ни сделали и чем меня можно было бы напугать. Однако, хочется покоя. Я хочу остаться наедине с собой. Свернувшись калачиком под теплым одеялом, спрятаться от всего мира и, обняв пустой, ноющий живот, оплакать свои потери: маму, Глазастика, своего малыша, себя, наконец, и свою переломанную, испоганенную жизнь. Но…

– У тебя пять минут, чтобы привести себя в порядок. Потом не проси заехать в магазин или еще куда-то по твоим женским делам. Будешь сидеть в машине и

справляться сподручными средствами, – объявляет Долгов, выходя из гардеробной с дорожной сумкой от Луи Витон, как попало набитой моими вещами. – Давай, пошевеливайся. Я и так потерял кучу времени, скоро менты объявят в розыск, и выехать из города будет сложно.

Он еще что-то говорит, а я просто пытаюсь осознать этот п*здец. Смотрю на совершенно индифферентного Долгова и чувствую себя сумасшедшей. Если бы не боль в низу живота, я бы решила, что у меня и правда слетела кукуха, и мне привиделось, что он нагнул меня над матрасом и трахнул "на сухую". Но я все еще не до конца натянула трусы, и кровь медленно стекает по моим бедрам, а значит ничего мне, к сожалению, не привиделось.

– Думаешь, после всего произошедшего меня волнуют твои угрозы и, тем более, проблемы? – спрашиваю едва слышно, хотя хочется заорать дурниной от боли, от обиды, от всей этой жестокости и несправедливости.

Долгов ничего не отвечает, бросает сумку возле двери и решительно направляется ко мне.

– Не трогай меня! – не взирая на опоясывающую боль, вскакиваю с кровати и хватаю с тумбочки книгу, чтобы хоть как-то обороняться.

– Собралась, живо! – взбесившись, рявкает этот мудак. Я тяжело сглатываю, задрожав от нового приступа боли и страха, Долгов же добавляет. – Ты вроде не совсем дура, должна понимать, что мне достаточно свистнуть, и тебя отсюда вынесут без всяких разговоров. Так что давай, сама, по-хорошему.

– Какой шикарный выбор, – вырывается у меня едкий смешок сквозь слезы.

– А кто тебе виноват? – заявляют мне таким тоном, словно говорят о погоде. – Не жевала бы сопли и не надеялась на Елисейку или на кого ты там рассчитывала, сидела бы уже давно на Манхэттене и попивала бы свой мятный чай, любуясь Гудзоном. У меня еще в январе было все готово. Тебе нужно было лишь подождать до утра, а не нестись, сломя голову, к своей мамаше.

Сказать, что я охренела – не сказать ничего. Я просто онемела от захлестнувшего меня возмущения и злости. Однако, представив, что все могло быть именно так, становиться невыносимо, до слез больно. Ведь я уже тогда,

получается, была беременна, а значит, могла… мы могли…

Нет, я даже думать об этом не в силах.

– Ну, да, – проглотив колючий ком, киваю с горькой усмешкой. – Это все я.

Долгов тяжело вздыхает, будто я его жутко утомила.

– Я тебе так скажу, Настя, – продолжает он свои нравоучения. – Либо человек сам делает выбор, либо за него выбор делают обстоятельства. Усидеть на двух стульях еще ни у кого не получилось. Да ты и сама теперь в этом убедилась, так что не наступай дважды на одни и те же грабли. Пора взрослеть. Пора делать выбор.

– Как будто ты мне его оставил, – огрызаюсь, понимая всю бессмысленность этого диалога.

– Оставлял. Помнится, еще в самом начале дал тебе возможность отказаться, но что ты мне тогда ответила? Кажется, это звучало так: «Хочу быть твоей».

– Я… – возмущенно открываю рот, но он не позволяет возразить.

– Не знала, не понимала и вообще маленькая была? – насмешливо уточняет, и тут же следует будничный ответ. – Ну, тогда объясняю: быть моей – значит не просто передо мной ноги раздвигать. Это может каждая баба. Быть моей – значит выбирать меня! Не маму, ни папу, ни сестру, а МЕНЯ! Всегда! Независимо от обстоятельств, вопреки всем и всему, понятно? И впредь ты будешь поступать именно так. Мне пох*й, хочешь ты того или нет! Тебе пора уяснить: то, что я назвал своим, остается моим до конца. И лучше вдумайся в это, если не хочешь повторения чего-то подобного, – обводит он ничего не выражающим взглядом кровать.

– Господи, какое же ты животное! – выплевываю с отвращением и болью, задыхаясь от понимания, что он не чувствует ни капли сожаления или вины. Ни за то, что произошло сейчас, ни за то, что сделал с моей семьей.

– Да. Но для такой трусливой сучки в самый раз, – будто подтверждая мои мысли, соглашается он и жестко резюмирует. – Всё, иди мойся, хватит из себя жертву корчить, ты уже эту роль в суде отыграла на отлично. Собирайся, мы уезжаем. У тебя две минуты.

– Я никуда с тобой не поеду, – шепчу, глотая слезы.

– А я не спрашиваю, поедешь ты или нет. Я говорю – ты делаешь! – отрезает он и обходит кровать, я шарахаюсь, сбивая с тумбочки лампу. Долгов, как ни странно, останавливается и отведя взгляд, словно увидел что-то неприятное, добивает:

– Ты протекла, иди.

Опускаю взгляд, вижу на своих белоснежных лосинах кровавое пятно, и в глазах темнеет, меня накрывает дежавю. Я будто снова стою на подъездной дорожке перед мамой с Можайским и истекаю кровью. Задрожав, начинаю задыхаться от паники, но выскользнувшая из рук книга падает прямо на ногу, очень вовремя приводя в чувство, иначе я не знаю, во что вылилась бы моя истерика.

Зашипев, машинально наклоняюсь к онемевшей ноге. Пока растираю ушиб, прихожу немного в себя и беру эмоции под контроль. Втягиваю с шумом воздух и, превозмогая тупую, ноющую боль в животе, ковыляю в ванную. На Долгова стараюсь не смотреть.

Оказывается, стыд еще жив. Стыд человека, у которого не осталось ничего сокровенного.

Словно в подтверждение этого Долгов заходит следом за мной в ванную. Застыв соляным столбом, поднимаю вопросительно бровь.

– Не кипишуй, смотреть не собираюсь, – «успокаивает» он и, как Елисеев, опустив крышку, садится на унитаз, приготовившись ждать.

– А что ты собираешься? – вспомнив то издевательство, моментально вспыхиваю от гнева.

– Ну, уж точно не выбивать дверь, если тебе придет в голову закрыться.

– Я не собираюсь ее закрывать. Выйди!

– А я не собираюсь проверять, – отрезает он и, давая понять, что диалог окончен, напоминает. – У тебя полторы минуты.

Меня снова начинает колотить, но уже от злости и бессилия. Хочется заорать во весь голос, но я настолько вымотана, что получается лишь с шумом втянуть воздух и, переступая через остатки гордости, тихо попросить:

– Пожалуйста, выйди. Я ничего не буду делать.

Долгов собирается, судя по выражению лица, в очередной раз послать меня, но я тут же добавляю:

– Если так сомневаешься, оставь дверь открытой. Но пожалуйста… выйди. Я тебя прошу.

Он медлит. Смотрит на меня пристально, отчего я невольно вся сжимаюсь в попытке прикрыть пятно. Наверное, выгляжу крайне жалко, потому что, поморщившись, он, не говоря ни слова, выходит. А я себя так и чувствую: жалкой, раздавленной, ничтожной.

Смахиваю подступившие слезы и обессиленно опускаюсь на бортик ванной. Руки дрожат, ноги не держат. Живот так противно скручивает в спазмах, что впору лечь и умереть.

Ну, вот за что мне все это? Разве то, что я позволила себе любить женатого мужчину соизмеримо с тем, что я проживаю сейчас?

Пока размышляю о законе бумеранга, аккуратно смываю следы Долговского бешенства. Между ног щипет так, что не могу сдержать слез.

Господи, неужели не зажило после выскабливания? Или это разрывы от грубого проникновения? А может, все – таки месячные? Крови – то не так уж много, да и по времени уже пора.

– Заканчивай, – врывается в мои переживания и надежды Долгов.

От неожиданности вздрагиваю, душевая лейка выпадает из моих ослабевших рук и падает с громким стуком. Меня с ног до головы обдает почти кипятком.

Я люблю греть ноги в горячей воде, но полностью моюсь исключительно в едва теплой, поэтому невольно взвизгиваю. Уж слишком горячо, особенно, для лица.

Естественно, Долгов тут как тут. Обжигает взглядом, а у меня внутри все обмирает. Стыдно становиться. До слез стыдно, стоит только вспомнить уничижительную фразу о том, что я за собой не следила.

Отворачиваюсь к стене и едва держусь, чтобы не разрыдаться от унижения.

Не знаю, почему меня беспокоит среди всего этого кошмара такая глупость. Смешно ведь: он берет меня силой, а я переживаю о том, что месяц не делала эпиляцию. Но, наверное, дают о себе знать втолкованные мамой истины.

Она бы сейчас наверняка выдала что- то из арсенала великих женщин типа "Чем хуже у девушки дела, тем лучше она должна выглядеть". Мама любила всякую пафосную ерунду и четко ей следовала. Она вообще была ходячим пособием, как быть женщиной, мимо которой не пройдет ни один мужчина.

Была… – словно молнией пронзает. При мысли, что Жанна Борисовна больше никогда не будет поучать меня со всезнающим видом, накатывает такая щемящая, отчаянная боль, что я понимаю, беспокоится об эпиляции не так уж глупо.

Пусть я еще не приняла и не осознала новость, которую сообщила Лиза, да и в груди теплится надежда, что это снова утка, как в тот раз – с аварией, однако я точно знаю, моя психика не выдержит очередной потери. Мне просто не за что будет зацепиться, чтобы удержаться на плаву и не утонуть в горе. Поэтому лихорадочно загоняю на задворки сознания эту, еще ничем не подтвержденную, новость и возвращаю себя в «здесь и сейчас».

Долгов, убедившись, что я не упала и ничего себе не повредила, снова оставил меня одну. Выдохнув с облегчением, выхожу из душа и перерываю шкаф в надежде, что домработница пополнила мои запасы гигиенических средств. Те, что были до роковых событий я выкинула, дабы маме не донесли, и она не

догадалась, что я беременна.

К счастью, все на месте. Более того, мама, видимо, предусмотрела, что что-то может быть не так, как раньше и теперь среди стандартного набора: ежедневок, для стрингов и тампонов, была пачка прокладок с "кучей капель". Ее-то я и беру.

Может, все-таки попросить врача? – проскакивает мысль, как только надеваю чистые трусики, но тут же отмахиваюсь от нее.

В конце концов, зачем? Чтобы эти "всесильные" мудаки и дальше пытались за мой счет самоутвердиться и что-то доказать друг другу?

Нет. Не хочу больше. Да и Долгов вряд ли станет искать мне врача, будучи в бегах. Зачем я ему вообще нужна, не понятно. Какой-то очередной каприз зажравшегося придурка: будто я мяч, который каждый из них пытается забить в ворота другого. При этом никому из них я по сути не нужна. Я – просто игра: такая же бессмысленная, как футбол и одновременно такая же веселая и захватывающая.

Пока один – один. Долгов сравнял счет. Уверена, Елисеев моей пропажей будет крайне недоволен. Он ведь еще не получил то, что хотел. Уж не знаю, как мама и Можайский удерживали его от меня, но даже не сомневаюсь, он свое еще потребует. А я лучше умру, чем эта мразь коснется меня снова.

В общем, в жопу такую жизнь! – решаю для себя и, выпив обезболивающее, собираю в косметичку все, что может понадобиться, если я не откину кони. После накидываю халат и иду в гардеробную, где быстро переодеваюсь в спортивные штаны и футболку. Достав из ящика шкатулку с дорогими для меня вещами, выхожу к Долгову.

–Собралась? – резюмирует он, оглядев меня с ног до головы. Отвечать ему даже односложными предложениями у меня нет абсолютно никакого желания. Молча, кладу в сумку косметичку и шкатулку, а потом опомнившись, беру с комода наше с мамой и Глазастиком прошлогоднее фото, сделанное буквально за пару недель до переезда.

На фотографии мы, конечно же, как с картинки счастливой семьи, которой никогда не были, но сейчас я не вижу этой наигранности. Передо мной лишь

красивая до умопомрачения мама и мы с Глазастиком с искрящимися улыбками на наших беззаботных лицах.

Господи, моя маленькая хохотушка… Неужели тебя больше нет?

Горло перехватывает спазм, а глаза жгут слезы.

– Ты правда их убил? – вырывается у меня всхлип, когда Долгов забирает из моих рук фотографию и подталкивает к выходу.

На мгновение он замирает, а у меня ярким заревом вспыхивает надежда, но в следующее мгновение его лицо принимает абсолютно непроницаемое, жесткое выражение.

– Пошли, – цедит он сквозь зубы и берет меня под локоть, но я, все поняв, тут же отшатываюсь.

– Не прикасайся, – шепчу, задрожав от слез. – Никогда больше не трогай меня этими грязными руками!

– Тогда прекрати истерику и спускайся вниз! – припечатывает он безжалостно. И мне ничего другого не остается, кроме, как глотать слезы и прощаться со всем, что когда-то называлось моей жизнью.

Во дворе нас ждет настоящая вакханалия: вся охрана дома перебита, залитые кровью бойцы валяются то тут, то там. Обслуживающий персонал согнан, как скот в кучу и охраняется несколькими быками с автоматами.

– Где моя тетя? – с ужасом оглядываю весь этот беспредел.

– Все нормально с твоей тетей. Посидит часок другой взаперти, потом ее выпустят, – отзывается Долгов абсолютно спокойно и подводит меня к одному из джипов.

– Я не поеду, пока не увижу ее, – останавливаюсь в паре шагов, не давая себя усадить.

– Ты не в том положении, чтобы ставить мне условия, – отрезает он и, обойдя меня, достает из машины бронежилет. – Надевай. Если я сказал, что с ней все в порядке, значит с ней все в порядке.

– Ты мне уже однажды сказал, что с моей мамой и сестрой ничего не случится! – срываюсь на крик и пытаюсь вырваться из его хватки, но он встряхивает меня, словно куклу и опускает мне на плечи порядка десяти килограмм армида, от которых я едва не оседаю на подъездную дорожку.

– Я сказал тебе то, что ты хотела услышать, – тут же подхватывает меня Долгов и ставит жирный крест на всех моих надеждах. – Есть обстоятельства, над которыми я не властен. Смерть твоей сестры и матери – одно из них.

– И это твое оправдание? – шокированная этой шарахнувший прямо в лоб правдой, шепчу, заходясь в слезах.

Долгов, ничего не говоря, усаживает меня в машину. Закрыв за нами дверь, отдает какие-то последние распоряжения по телефону и только, когда наш кортеж из трех или четырех машин выезжает со двора, произносит:

– Я не оправдываюсь, Настя. В вопросах выживания оправданий быть не должно. Ты либо добренький и мертвый, либо злой и живой. Я предпочитаю быть живым.

Что на это можно ответить?

Собственно, ничего. Спрашивать, неужели нельзя было убрать одного Можайского, тоже бессмысленно, поэтому просто отворачиваюсь к окну и плачу, глядя на пролетающие за окном улицы.

Понятно, что каждый выживает, как может, и не он, так его. И я не желаю Долгову смерти даже после всего, что между нами произошло. У меня нет мыслей в духе “лучше бы он, чем они”. Но, вспоминая Глазастика, еще совсем недавно примеряющую на себя роль тёти: то, как она радовалась вместе со мной, гладя по вечерам мой живот, мое сердце разрывается на части от бессильной злости.

Я знаю, что тот Гордиев узел, в который сплелись судьбы моих любимых людей невозможно было аккуратно распутать, только рубить. Но, боже, как же больно. Как же мне больно!

Закусив кулак, чтобы не завыть в голос, плачу навзрыд. Перед мысленным взором проносятся кадры из прошлого: как я увидела моего большеглазика впервые. Такую красную, слегка отекшую с белыми, как снег волосами. Она казалась мне тогда до безобразия страшненькой, но я все равно полюбила ее всем своим истосковавшимся по любви и ласке десятилетним сердечком. Ей я подарила все то, чем не могла поделиться с мамой. Со школы я летела к этому комочку радости и нянчилась с ней днями напролет. Когда первым ее словом стало "няня", моему счастью не было предела. Она была моей нежностью, радостью и любовью в нашем лишенном любви и тепла доме.

А уж, когда узнала о моей беременности и вовсе… В каком же восторге она была, что скоро у нас будет маленький, и можно будет катать его на коляске, кормить с бутылочки и переодевать. Она тогда постоянно фантазировала, представляя наше будущее и рассказывая про свое: что у нее, когда вырастет, обязательно будет большой дом в деревне и много – много детей, а еще непременно муж – кондитер, чтобы она могла есть сладкое в любое время. Такие по-детски смешные, милые мечты… Сейчас они по – живому режут, ибо не будет. Ничего уже у моего Глазастика не будет: ни дома большого, ни много-много детей, ни мужа-кондитера, ни банального "вырасту".

Не вырастет, так и останется в воспоминаниях маленькой девчушкой, и только в сердце большой, незаживающей раной.

С каждой минутой эта рана разрастается все сильнее и сильнее, стоит только представить, как мы могли бы жить втроем с мамой и Глазастиком в Греции, в уютном домике на берегу Средиземного моря. Наверное, это могла бы быть чудесная жизнь. Думать, о том, что Можайский вряд ли позволил бы ей стать реальностью, мне совсем не хочется. Сейчас я хочу мечтать. Говорят, это совсем не вредно. Жаль только, не уточнили, что это бывает свирепо больно, когда точно знаешь, что твоим мечтам не суждено сбыться.

В этом коконе боли я провожу неизвестно, сколько времени. Прислонившись к стеклу, смотрю невидящим взглядом вдаль и чувствую, как меня изнутри сжирает пустота и горечь. Слез больше нет. На меня накатывает какое-то тупое безразличие, и я просто смотрю в никуда.

Вымотанная переживаниями и стрессом, сама не замечаю, как засыпаю. Сквозь сон чувствую, как меня аккуратно укладывают, позволяя вытянуться на сидении. Так становиться намного удобнее. Скованное напряжением тело постепенно расслабляется, а уж когда заботливые руки начинают нежно гладить меня по волосам и лицу, я и вовсе едва не мурчу. Правда, моя нега длиться недолго.

Вскоре начинается какая-то суета: в мой сон то и дело врываются взволнованные голоса, забористый мат, машину мотает, будто по ухабам, руки, еще недавно поглаживающие меня, теперь напряженно держат. А в следующее мгновение я едва не подскакиваю от раздавшегося выстрела.

– Тихо, маленькая, тихо! – не позволяя мне поднять голову с его колен, успокаивающе поглаживает меня Долгов и тут же жестко бросает сидящим впереди мужикам. – Леха, люк открывай и пали прямо в голову. А ты, Витёк, юли хоть немного. Ты же, бл*дь, не трамвай.

– Я стараюсь, Сергей Эльдарович.

– Не надо стараться, надо делать! Я тебе не мама, чтоб твоим стараниям умиляться.

Парень что-то обиженно бурчит в ответ, а дальше раздается залп выстрелов, от которых у меня сердце уходит в пятки. Сон моментально, как рукой снимает, и я едва дышу от бушующего в крови адреналина.

Что я там говорила? Жить не хочу? Так вот ни хрена подобного. Хочу. Еще как хочу. Мой инстинкт воет сиреной, и я цепляюсь за Долгова, как за спасательный круг, но он, будто специально убирает мои руки.

– Давай, Настюш, сядь вон туда, – кивает в проход между моим и передним сиденьем. – Машина бронированная, но я сейчас окно открою, надо им помочь. Главное голову спрячь и руки.

– А ты? – вырывается у меня неосознанно, что у Долгова вызывает едва заметную улыбку.

– Все хорошо будет. Давай, – мягко заверяет он, но я ему ничуть не верю, однако, понимая всю бессмысленность возражений, киваю и соскальзываю в ноги.

Сжавшись в комок, превращаюсь в оголенный нерв. Машина юлит, нас то и дело заносит, отчего меня бросает то в жар, то в холод. От каждого выстрела все внутри обмирает, и сердце грохочет, как сумасшедшее.

Боже, боже, боже! Пусть это быстрее закончится! – молюсь про себя, дрожа всем телом. Хочу зажать уши, но не могу. Мне необходимо слышать голос Долгова. Необходимо знать, что с ним все в порядке. Поэтому, когда все смолкает, я едва не отдаю Богу душу от леденящего ужаса. В ушах до сих пор звенит, и я ни черта не могу понять.

– Сережа… – поднимаю голову.

– Сядь, как сидела! – рявкает Долгов и, закрыв окно, хлопает по водительскому сидению. – Гони, Витек, гони. Выжимай на полную, надо оторваться.

Машина набирает какую-то сумасшедшую скорость, Долгову звонят, и он начинает орать, судя по всему, на Гридасика, я принимаю прежнюю позу и пытаюсь сдержать слезы. Напряжение и вполне осязаемый страх в голосе Долгова пугают меня гораздо сильнее перестрелки и возможности разбиться. Кажется, ситуация совершенно вышла из-под контроля.

– Давай, Гридасик, бери их на себя и узнай самое главное, чьи они, мы щас с этими гандонами разберемся, а ты потом сразу к Копченому, тачки меняй. Не хватало еще перед ментами засветиться раньше времени, – долетает до меня обрывок разговора, а потом снова начинается какой-то дурдом: пальба, крики, вихляния машины.

Мои нервы – таки не выдерживают и, я зажимаю уши, дрожа, как листик на ветру.

Но все резко обрывается: мы тормозим, Долгов тормошит меня за воротник бронежилета.

– Настя, быстро вставай, бежим! – кричит он. Обезумев от страха, я подскакиваю и тут же оседаю от скрутившей меня боли в животе. Но Долгов, не замечая, продолжает тащить на улицу.

Сцепив зубы, пытаюсь взять себя в руки и не быть обузой, даже пробегаю несколько метров в сторону лесополосы, но как только машина позади нас с визгом срывается с места, обессиленно падаю.

– Вставай! Быстрее! Настя, быстрее! У нас пару минут, – раздраженно выпаливает Долгов, лихорадочно оглядывая дорогу и, снова схватив меня за воротник, пытается поднять. А я, как ни силюсь, не могу перетерпеть эту режущую боль.

– Не могу-у! – разрыдавшись от бессилия, качаю головой.

– Что? – задохнувшись в момент звереет Серёжа. – Ты, бл*дь, специально что ли? Совсем идиотка? Думаешь, это шутки или твой Елисеев примчался? Да кто угодно может быть, дура! Убьют тебя вместе со мной и глазом не моргнут. Встала, живо!

Он все-таки поднимает меня и грубо толкает вперед. Я делаю шаг и от боли едва не теряю сознание. Наверное, у меня вырывается какой-то крик, потому что Долгов замирает.

– Да что такое? – рычит, заглядывая в мое заплаканное лицо.

– Больно, – все, что могу выдохнуть и берусь за живот. Долгов втягивает с шумом воздух, но недолго думая, подхватывает меня и взваливает себе на плечи. Я повисаю, как полотенце на его шее и едва могу вздохнуть. Каково ему бежать со мной и двумя десятикилограммовыми бронежилетами, я даже боюсь представить.

За спиной раздается визг тормозящих шин. Я с ужасом оглядываюсь и вижу, как из машины выскакивают бритоголовые качки с пистолетами наперевес.

– Серёжа, там… там… – пытаюсь предупредить, но от панического ужаса не могу сложить буквы в слова. У Долгова вырывается что-то похожее на рык упрямого

животного, пытающегося выжать из своих сил максимум.

Он ускоряется и на бешеной скорости залетает в лес, мчится между деревьями, кустами, не разбирая дороги. Ветки безжалостно хлещут по лицу, но я даже не замечаю. Все мои мысли и мольбы только о том, чтобы нас не догнали.

Однако Серёжа буквально через пару минут останавливается и бросается к какому-то холму. Сгрузив меня неподалеку, он начинает, словно сумасшедший рыскать вокруг, и уже в следующее мгновение победно улыбается. Откидывает кучу веток и пластов травы, за которым оказывается что-то похожее на деревянную створку.

– Это что, землянка? – спрашиваю, подходя ближе, когда он открывает эту своеобразную дверь, и перед нами открывается нечто похожее на низенькую комнату.

– Да, – кивает Долгов, быстро оглядывая ее. – Залазь. Судя по всему, здесь давно никто не живет.

Мне становиться жутко, но выбора нет. Правда, когда подползаю к входу, замираю и перевожу взгляд на Долгова.

– А ты? – спрашиваю, похолодев от догадки.

– Полезай. Я побегаю немного, надо их увести, – подталкивает он, подтверждая мои опасения.

– Ты с ума сошел?! – цепляюсь мертвой хваткой и истерично тараторю. – Нет. Не надо. Нас не найдут.

– Найдут, Настюш, это не сложно, – убирает он мою руку со своего предплечья и нажимает мне на плечи. – Давай, у нас мало времени.

– Но…– всхлипываю, продолжая лихорадочно держаться за него.

В это мгновение все отходит на второй план. И Глазастик, и мама, и прошедшая ночь, и все- все обиды, и непонимание. Остается только моя проклятая любовь, и

страх за него, и я не могу отпустить. Просто не могу. Ибо знаю, что не переживу, если потеряю еще и его.

– Никаких "но"! – отрезает он, насильно заталкивая меня в землянку и, бросив следом телефон и пистолет, дает последние напутствия. – Что бы ни происходило, ты сидишь здесь и ждешь, когда этот телефон зазвонит. Поняла?

Я плачу, но киваю, он же продолжает.

– Если кто-то полезет – пристрелишь. Ни секунды не думай, просто стреляй в голову! Потом спрячься здесь неподалеку, чтобы был хороший обзор землянки и жди того, кто прибежит на выстрел. В него тоже стреляй. Поняла?

– Да, – смотрю на него сквозь пелену слез и отчаяния.

– Умница, – кивает он с вымученной улыбкой и тоже смотрит. Смотрит так, словно каждое слово дается ему через нестерпимую боль и муку. – Ничего не бойся. Даже, если со мной что-то случится, этот телефон все равно зазвонит, и у тебя все будет хорошо…

Он еще что-то обещает, а я не слышу, просто смотрю и задыхаюсь от понимания, что, возможно, вижу его в последний раз.

– Поняла? – уточняет он снова, я на автомате киваю. Он хочет что-то еще сказать, но усмехнувшись, будто самому себе, замолкает.

На несколько секунд повисает душащая, звенящая от кучи невысказанных слов тишина. Мы смотрим друг другу в глаза, в них столько всего… Боже, сколько же там всего! Оно клокочет в груди, рвется наружу, но как только подступает к горлу, застывает там колючим комом. И как ни стараешься, не можешь сказать ни единого гребанного слова.

– Анастасия Андреевна, – выдавливает все же Долгов через силу.

– Да… Сергей Эльдарович? – хриплю, подхватывая его тон.

Он тяжело сглатывает и шепчет с горькой ухмылкой:

– Твои ноги – самое ох*енное, что я видел в этой жизни.

Не знаю, чего я ждала, но уж точно не этого. У меня вырывается истеричный смешок, который тут же перерастает в рыдание, ибо дверка захлопывается, отрезая меня от внешнего мира, а главное от него – от мужчины, которого я должна бы ненавидеть, но продолжаю любить, любить вопреки всему.

Следующие часы я пребываю в таком нервном напряжении, что даже забываю о боли в животе. Каждый шорох подобен маленькой смерти, а уж когда где-то вдалеке начинают раздаваться выстрелы, со слезами оседаю на землю и вспоминаю все молитвы, которым нас учили в православном лагере. Я молюсь так неистово, что даже пропускаю момент, когда дверь в землянку открывается.

Подскочив, в последний момент вскидываю пистолет, но тут узнаю в косматом бородаче Гридаса и выдыхаю на секунду облегченно, чтобы в следующее мгновение в ужасе застыть, понимая, что это может значит.

– Спокойно! – предостерегающе вытягивает Гридасик руку. – Я от Серёги.

– Где он? – шепчу, забыв о том, что надо стрелять. Все мои мысли лишь о Долгове

– С ним все нормально, плечо немного зацепило, а так…

– Плечо? – пошатнувшись, едва не оседаю вновь.

– Да. Но там малёха, – заверяет он, косясь на пистолет в моих трясущихся руках.

– Я тебе не верю, – качаю головой и снимаю пистолет с предохранителя, сообразив, наконец, что и Гридас может быть предателем.

– Так. Тихо! Ти-хо! Я от Долгова! – пятится он назад, попутно доставая из штанов телефон. – Смотри, звоню ему.

Он трясет сотовым, как погремушкой и демонстративно нажимает на вызов.

– Нашел? – через пару гудков раздается из динамика любимый голос и, мои ноги все-таки подкашиваются. Упав на колени, меня начинает колотить, как припадочную. Все напряжение, страх и отчаяние прорывается наружу, и я захожусь в слезах.

Да что там?! Вою, как ненормальная, повторяя про себя, словно мантру: “живой, живой, живой.” От облегчения на меня такая слабость накатывает, что я едва сознание не теряю.

– Серёга, у нас тут срыв, – резюмирует Гридас, глядя на мою истерику.

– Да слышу. Ну-ка включи громкую связь.

– Уже, – опускается Гридасик на корточки возле меня и, забрав из моих ослабевших рук пистолет, вручает телефон.

– Настя, – зовет меня Долгов. – Настя, ты слышишь меня?

Мне требуется приложить немалые усилия, чтобы кое-как выдавить:

– д-Да.

– П*зда! – моментально приводит Сереженька в чувство. У меня аж рот от неожиданности открывается, Долгов же продолжает разнос. – Я тебе, что сказал делать? Я разве не русским языком говорил, чтобы ты сразу стреляла, как только кто-то войдет?

– д-Да, – оторопев от такого наезда, мямлю беспомощно, – но это же Гридасик…

– Да хоть Гридасик, хоть Херасик, хоть сам Господь – Боженька! Ты че такая трудная-то?

А вот это уже обидно, так как я отчетливо слышу “тупая” вместо “трудная”.

– В смысле трудная? А если бы я ему и правда голову прострелила?

– «Если бы»… – передразнивает он. – Если бы ты меня хоть раз! Один, гребанный раз послушала…

– Да, да, да! Сидела бы на Манхэттене и пила мятный чай, любуясь Гудзоном. Теперь будешь, как Попка-Дурак, постоянно повторять?

Долгов начинает смеяться, мне и самой становиться смешно. Господи, нас чуть не перестреляли, а мы спорим! И тут меня, наконец, озаряет.

– Успокоилась немного? – спрашивает Долгов, будто прочитав мои мысли.

– Ты умеешь приводить в чувство. Психологом стать не хочешь?

– Если я буду пытаться реализовать каждый свой талант, жизни не хватит.

– О, ну точно, – закатываю с улыбкой глаза. Мы смеемся. Но этот смех быстро сходит на "нет": у Долгова он перерастает в едва слышный, болезненный стон, а я, будто очнувшись, вспоминаю, что мы больше не «пчеловод и газосварщик», очарованные друг другом. Мы те, на ком ни осталось ни единого клочка маски. Ничего, кроме пропасти из предательств, горя, и обид. И это очень больно осознавать.

– Как ты? Ранение серьезное? – давя в себе слезы и горечь, возвращаюсь к насущным вопросам.

– Ерунда, жить буду.

Ответ меня совсем не удивляет, поэтому не могу сдержать тяжелый вздох.

– Тебе надо к врачу.

– Все нормально, справимся своими силами, у меня есть свой медик. В больницу нельзя. Меня объявили в розыск, моя рожа теперь по всем каналам.

– Но… – хочу возразить, но кто бы мне дал.

– Все, Насть, давай, иди с Гридасиком. Догоняйте, и так кучу времени потеряли.

Не говоря больше ни слова, он отключается. Мне остается только возмущенно открывать и закрывать рот.

– Что? Даже слушать не стал? – понимающе улыбнувшись, забирает у меня Гридасик телефон.

– Да ну его к черту! Хочет помереть от какого-нибудь заражения, ради бога, – отмахиваюсь обиженно и пытаюсь встать, но из-за слабости и головокружения меня ведет, и я едва не падаю. – Ой, мамочки!

– Осторожно. Давай руку, – хватает меня Гридас и помогает встать.

Получается немного резко, в глазах тут же темнеет, живот скручивает от боли, и я сгибаюсь пополам.

– Что такое? – следует обеспокоенный вопрос.

– Ничего, все нормально, сейчас пройдет, – заверяю торопливо. Смысла что-то говорить Гридасу не вижу. Он все равно без разрешения Долгова никуда меня не повезет, да и я сама не хочу осложнять ситуацию, наверняка мое лицо теперь тоже по всем каналам. Да и, если у Долгова есть свой медик, может, он сможет помочь. В конце концов, мне ведь не так уж и плохо. Ну, болит, но почти, как во время месячных. Может, это все-таки они и есть?

Так я успокаиваю себя всю дорогу до машины, чувствуя, что еще чуть-чуть и побежит по ногам, поэтому, когда вижу свою сумку на заднем сидении, моему облегчению нет предела. Не взирая на то, что мне жутко неловко и стыдно, прошу Гридаса отвернуться и дать мне немного времени. Он понимающе уходит покурить.

Правда, после не могу взглянуть ему в глаза, сколько ни повторяю, что это все физиологично, и ничего постыдного в этом нет.

Отпускает меня только спустя пару часов молчаливой езды, прерываемой лишь короткими звонками Долгова. Перебарывая смущение, спрашиваю, куда мы едем

и долго ли еще, в ответ получаю довольно лаконичное: "На турбазу Серёгиного знакомого."

Догадавшись, что Гридасик и сам мало, что знает, больше не лезу к нему с вопросами. На турбазу приезжаем уже затемно. Состояние у меня совсем хреновое: меня знобит, живот и поясницу ломит так, что каждый шаг дается с трудом, поэтому меня не впечатляют ни природа, ни домики в скандинавском стиле посреди леса, на берегу горной реки. Все, чего я хочу – это добраться до кровати и попросить врача.

– Иди вон в тот, последний домик, там все готово, – кивает Гридасик в сторону торчащей за холмом крыши. – Мне надо машину спрятать.

Молча, кивнув, иду, точнее ковыляю по указанному маршруту. За несколько метров до домика, из-под навеса ко мне выходит охрана, но узнав, пропускает без лишних вопросов.

Прежде, чем войти, ненадолго замираю, давая себе передышку. Меня вдруг охватывает волнение и страх. Сама не знаю, чего боюсь, но боюсь отчаянно.

Сглатываю тяжело и осторожно открываю дверь, в коридоре темно, но полоска света из приоткрытой комнаты прямо по курсу, не дает растеряться.

В проеме вижу полуголого Долгова, сидящего на кровати. Сделав шаг, хочу окликнуть, но замираю, как вкопанная, заметив рядом женщину, колдующую возле его плеча. Почему-то мысли, что это может быть врач даже не возникает.

И в следующее мгновение я в этом убеждаюсь, когда Долгов что-то тихо со смешком произносит, а большеротая копия Джулии Робертс начинает кокетливо смеяться.

– Господи, Долгов, ты не меняешься! – резюмирует она. – Что десять лет назад, что сейчас…

– Ну, а зачем, если я и так хорош? – парирует он дурашливо. Но я слышу в голосе эту игривую нотку вышедшего на охоту кобеля, и чувство, будто меня изнутри облили кислотой, особенно, когда женщина протягивает руку и судя по всему,

проводит по его щеке, признаваясь:

– Я соскучилась по тебе. Очень сильно соскучилась, Долгов.

Никогда не думала, что человека можно возненавидеть с первой секунды. Тем более, когда эта ненависть замешана на ревности. Я вообще всегда считала глупым винить в чем-то другую женщину и никогда не понимала бабских разборок на подобии тех, что учинила мне Лариса. В конце концов, какой смысл, если корень всех проблем в мужике? Это как лечить симптомы вместо их причины.

И вроде бы все это я и сейчас прекрасно понимаю, но смотрю на соскучившуюся «Красотку» местного пошиба, и едва держусь. Так хочется войти и вломить ей в ее джулироберсткую улыбочку, чтоб не щерилась призывно, и держала свои ручонки при себе, а лучше, чтоб вообще исчезла, ибо я не в состоянии вынести «ничего не значащий флирт» от очередной «ничего не значащей бабы». После всего, что я пережила и потеряла, для меня это кощунство, надругательство. Внутри полыхает огнем, и никакая позитивная хрень в духе «это цивилизованно и вообще нормально быть с бывшими в теплых, приветливых отношениях», не работает.

Похрен мне, как там нормально и цивилизованно, и что мы с Долговым два месяца, как друг другу никто. В жопу эти реверансы! Не припомню, чтобы прошлой ночью Серёженька о них вспомнил, когда, как животное, нагнул меня раком и трахнул. Более того, сейчас я даже могу его понять, ибо мое сердце тоже не помнит, не знает и не признает никакого «цивилизованно». Озверев от собственнического инстинкта, оно варварски ненавидит и болит. Разрывается на части от обиды и непонимания. Я не понимаю, почему этой женщине из прошлого, с которой уже ничего не связывает, Долгов позволяет вот так запросто, по-свойски прикасаться к себе, вести эти недвусмысленные разговоры, улыбаться соблазнительно и просто даже оказывать помощь, словно он ее мужчина, и она имеет на это все права, тогда, как я, потеряв всего месяц назад его ребенка и пройдя все круги ада, стою тут, как бедная родственница и чувствую себя чужой, лишней?

И нет, я вовсе не желаю быть на месте «Робертс»: мне не нужны ни его шутки, ни прикосновения, ни близость. Я просто хочу, чтобы он хоть чуть-чуть, хотя бы самую малость уважал мое горе и мои потери, не обесценивая с каждой встречной то, что между нами было.

– Вижу, новым мужем ты не особо довольна, – словно услышав мой мысленный вой, со смешком убирает Долгов руку Большеротой. Я же убеждаюсь, что возненавидела эту назойливую бабу не зря, когда она вместо того, чтобы как-то смутиться и сделать вид, что ничего не произошло, в шутку, но с претензией, парирует:

– А ты вижу, недотрогой стал.

Долгов хмыкает и с ленцой проводит ладонью по затылку. Он всегда так делает, когда придумывает удобоваримый ответ, чтобы не слишком обидеть.

– Да не то, чтобы… – тянет насмешливо. -Просто не хочу истечь кровью, пока ты ностальгируешь.

– Ой, сиди уж! – ничуть не проникнувшись, толкает она его в плечо, отчего он с шумом втягивает воздух.

– Томка, твою мать! Больно же.

– Не ной и мать мою не трогай. Если бы не я, давно бы уже червей кормил.

– Ну, а кто спорит? Но давай поаккуратней. Шкура у меня может и бронёвая, но не когда в нее со всей дури тычут иголкой.

– Она у тебя, Долгов, не бронёвая, а сволочная, особенно, когда кладешь на кого-то большой и толстый.

– В смысле? Это че щас за наезд?

– А вот такой вот! Хоть бы раз приехал просто так. А то вечно либо мимоходом, либо покоцанный весь.

– Так ты бы еще дальше забурилась.

– О, ну, конечно, – пыхтит она зло над его плечом, и я уже по ее перекошенному лицу вижу, что Долгову сейчас снова будет больно.

И точно: в следующее мгновение он стонет от боли.

– Бл*дь, Томка, ну, поаккуратней -то будь! Че зверюга-то такая? – взяв стоящую рядом бутылку рома, цедит Сережа раздраженно, мне же хочется вырвать руке этой обнаглевшей Томке.

Какого вообще хрена она права какие-то качает? Мужик двести лет, как забыл к ней дорогу, а она все туда же. Самой не стремно?

– Какие пациенты – такие и медсестры, – отбривает меж тем Большеротая, однако, Долгова это только веселит.

– Ну, ты и злющая, – дразнит он ее, делая несколько глотков прямо из бутылки. – А я тебе, помнится, предлагал нанять управляющего на базу и переезжать ко мне в город.

– В качестве кого? Твоего вкусного, румяного поросеночка?

Долгов смеется, а я с горечью осознаю, что рыжая попала в точку. Так и есть: я – вкусный поросеночек, которого холили и лелеяли, чтобы безжалостно сожрать.

– Между прочим, никто из моих «поросеночков» не жаловался, – будто в противовес мне заявляет Долгов. Рыжая недвусмысленно хмыкает.

– Если бы я хотела быть на привязи у сахарного папочки, я бы тоже не жаловалась.

– Ты бы не жаловалась, если бы знала, чего на самом деле хочешь, – обрывает Долгов в своей безапелляционной манере. Естественно, Большеротую это задевает.

– А я, значит не знаю? – замерев, уточняет она вкрадчиво и сверлит Долгова полыхающим взглядом.

– Не знаешь, – снисходительно подтверждает он. – Знала бы, не смотрела бы на меня так.

Он понижает голос, отчего в нем снова проскальзывают те самые, кобелиные нотки, от которых у меня внутри все стягивает жгутом, Рыжая же, напротив, приободряется.

– Так – это как? – спрашивает кокетливо, вновь поднимая во мне только-только устаканившуюся бурю.

– С неизбывной, женской тоской, Томка, по большому члену и хорошей ебл*, – с видом величайшего мыслителя, посвящающего в основы мироздания, выдает Долгов, отправляя в нокаут и меня, и судя по всему, Томку. Правда, она быстро приходит в себя и начинает хохотать.

– Господи, Серёжка, вот что ты за беспардонная морда?!

Это ласковое, интимное «Серёжка» отдается во мне глухой болью, как и последовавший ответ.

– Ну, а чего ходить вокруг да около?

– Это предложение? – тут же игриво уточняет рыжая сучка, а я понимаю, что, если Долгов сейчас согласиться, я просто-напросто здесь вскроюсь. Ибо у меня больше нет сил жить в этом мире предательств, лжи и нелюбви. Пусть между нами практически ничего не осталось, но я все еще чувствую тот дикий, прощальный взгляд и слышу придурковатое, но такое до дрожи необходимое «люблю», и я не готова похоронить их так скоро. Мне страшно, до ужаса страшно получить очередной удар.

Сама не замечаю, как оказываюсь на улице. Дышать трудно, меня знобит с такой силой, будто я голая вышла на мороз. Иду, не разбирая дороги. Мне так плохо, что я ни черта не соображаю. Слез нет, да вообще ничего нет, кроме желания убежать, спрятаться – да все, что угодно, только бы не знать этой боли, только бы не думать, где Долгов проведет эту ночь, и не представлять, как будет эту большеротую трахать. Однако, поздно: воображение, словно взбесившийся конь, уже несет меня в опасные, непроходимые дебри. Они с оттяжкой хлещут изнутри, заставляя сходить с ума от гадких вопросов и предположений.

Трахнет ли он ее сейчас или дождётся ночи? Будет ли шептать ей всю ту похабщину, что шептал мне? Станет ли вылизывать ее с таким же кайфом, как

всегда вылизывал меня? Будет ли нежен или тоже нагнет ее над кроватью и отымеет, как оголодавшая зверюга?

Не знаю, до чего бы меня довела фантазия, но тут сильные руки останавливают мой бег, и внутри на короткий миг распускается хрупким цветком надежда.

Да, несмотря ни на что, я все еще хотела банального и вот уж воистину «неизбывно – женского», чтобы догнал, остановил, вернул. Но, обернувшись, встречаюсь с обеспокоенным взглядом Гридаса, и цветок в моей душе сгорает в огне разочарования.

– Ты куда? Что случилось? – спрашивает этот бородач с добрыми глазами.

– Хотела пройтись, – выдавливаю из себя через силу и сглатываю подступившие слезы. Гридас хмурится, явно ничуть не веря.

Вот только мне уже все равно. Наверняка он в курсе происходящего, и я кажусь ему до невозможности жалкой терпилой, с чувствами которой можно не считаться. Обхватываю себя за плечи и, дрожа всем телом от слабости, и температуры, прошу, преодолевая унижение и стыд:

– Можно я переночую в машине.

Гридасик хочет возразить, но я не позволяю.

– Пожалуйста. Я не смогу с ними в одном доме, – шепчу со слезами. Сил на споры и гордость не осталось, я даже не уверена, что смогу дойти до машины, где бы она ни была. У меня все болит. Болит настолько, что я не в состояние отличить, где заканчивается боль физическая, а где начинается душевная.

– Пошли, – накидывает Гридас мне свою олимпийку на плечи и, взглянув в глаза, вдруг заявляет. – Неужели до сих пор ни черта не поняла?

– А что я должна понять? – удивленно вскидываю бровь. Ответ ошарашивает еще больше.

– Если бы он хотел просто бабу, не рисковал бы так и не помчался к тебе прямиком из тюрьмы. Ты вообще понимаешь, что такое побег и как сложно его организовать? Да никакая месть не стоит того, чтобы про*бать свой шанс вырваться из этого гадюшника. Если уж на то пошло, способов отомстить без напряга на жопу хватает. Так что прекращай уже накручивать себя. Я участвовал в организации переездов: и твоего, и его семьи, и знаю, о ком он думал в первую очередь. И уж поверь, не о детях вовсе.

Я не знаю, что ответить на это откровение, а главное, что думать. Внутри сумятица и сумбур.

– Иди уже, Настасья, – тяжело вздохнув, резюмирует Гридасик. – Он месяц провалялся с пробитой почкой, из тюрьмы сбежал, побывал в перестрелке, а впереди еще хрен знает, что. Какие, бл*дь, бабы? Ему бы отоспаться и пожрать, как следует.

Мне хочется съязвить, что очень даже такие – уткнутые лицом в матрас, но мне стыдно посвящать кого-то в этот кошмар, тем более, что он аукается в каждом шаге режущей болью. Надо сказать Долгову, чтобы, наконец, вызвал какого-нибудь врача, но эта мысль улетучивается, стоит подойти к домику и столкнуться с абсолютно нечитаемым, холодным взглядом сквозь пелену сигаретного дыма.

Долгов, облокотившись на перила веранды, задумчиво курит, оглядывая меня с ног до головы. Он кажется расслабленным, но я нутром чую, что под кожей у него закипает бешенство. Замираю в нескольких шагах и, жду, что он обрушит его на меня. Однако, Серёжа неторопливо стряхивает пепел и спокойно, словно у неразумного ребенка, интересуется:

– Проветрила голову?

Отвечать не вижу смысла, поэтому неловко отвожу взгляд. Долгов тяжело вздыхает.

– Иди на второй этаж, там все готово: и ужин, и постель.

Мне много, чего хотелось сказать, спросить, но я снова не смогла. Постыдилась себя, своих реакций, чувств. Поднявшись наверх, не раздеваясь и не включая

свет, я забралась под одеяло с головой, и разрыдалась.

Я плакала и плакала, и плакала. От безысходности: от невозможности что-либо изменить и что-то вернуть.

Наверное, в какой-то момент я отключилась. От боли ли, стресса? Черт его знает.

Очнулась от того, что вся горю и в то же время плыву куда-то.

Ничего не понимая, оглядываюсь в кромешной темноте и мне кажется, что меня снова избили и держат в подвале нашего дома, в той проклятой каморке.

Когда дверь в нее приоткрывается, и кто-то тихонько заходит, на меня такой ужас накатывает, что я, словно парализованная, застываю и не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть.

Кто-то ложится рядом, матрас прогибается. Чувствую, как тяжелая, мужская рука опускается на меня поверх одеяла, по взмокшей шее проходится холодок чужого дыхания. Мужчина аккуратно зарывается носом в мои волосы и жадно вдыхает мой запах, а я не выдерживаю, начинаю дрожать и всхлипывать.

– Пожалуйста, не надо, – умоляю лихорадочно. – Я все сделаю. Только не надо!

– Маленькая, я не трону тебя. Я просто…

– Пожалуйста, – захлебываюсь истерикой. – Мой малыш… Не надо!

– Какой еще малыш? – пробивается сквозь вату перепуганный голос Долгова, в следующее мгновение над кроватью загорается светильник, и я вижу бледное, перекошенное от беспокойства лицо.

Долгов оглядывает меня лихорадочным взглядом и тут же прикладывает к моему взмокшему лбу холодную ладонь.

– Да ты вся горишь! – резюмирует он и, соскочив с кровати, откидывает одеяло, да так и застывает, глядя на мои бедра, становясь не просто бледным, а серея

на глазах. Меня пробивает озноб и, я съеживаюсь в калачик, наконец, начиная осознавать, где я и что со мной.

– Гридас! – орет меж тем Долгов чуть ли не на всю базу и тут же бросается ко мне. – Настя! Настя, ты слышишь меня? Ты что… ты беременная что ли?

– Вы… вызови мне врача, – все, что могу сказать и снова проваливаюсь в густую темноту, в которую то и дело прорываются обрывки разговора.

– Давай, Гридас, неси ее в машину. Кажется, у нее выкидыш.

– Она что, беременная была? От кого?

– Да откуда я знаю?! Не от меня – точно.

– П*здец!

– Давай, быстрее, быстрее! – слышу нарастающую панику в голосе Долгова.

– Может, давай, я ее осмотрю, чтобы зря не рисковать? – как ни странно, узнаю Большеротую и хочу тут же запротестовать, ибо лучше умру, чем позволю ей лезть ко мне своими наглыми ручонками. Но, к счастью, Серёжа тоже не в восторге от ее предложения.

– Ты разве гинеколог? – осведомляется он резче, чем, наверное, следовало.

– Ну, нет, но…

– Ну, вот и не лезь тогда!

– Просто может, это ложная тревога.

– Она, бл*дь, кровью истекает! Какая ложная тревога?! – чуть ли не орет он. Я чувствую, как меня укладывают на заднее сидение.

– Ты пару часов назад тоже кровью истекал, – продолжает меж тем Большеротая вразумлять Долгова. – И ничего, как-то без больницы обошлось. Хочешь снова в тюрьму? Твои и ее ориентировки по всей России.

– Слушай, Томка, не вынуждая меня грубить тебе. Не суй свой нос, куда тебя не просят, – отрезает Долгов и садится в машину.

– Да ради бога! – бросает Рыжая напоследок. – Хочешь все просрать из-за мокрощелки, которая, мало того, что тебя засадила, так еще и забеременела, не пойми от кого? Вперед и с песней!

Глава 2

«Если бы он мог заплакать или убить кого-нибудь! Что угодно, лишь бы избавиться от этой боли!»

К. Макколоу «Поющие в терновнике»

Вот не зря говорят, обиженная баба злее черта, а недотраханная – хуже фашиста. Томка это подтверждает на ура, продолжая выкрикивать какую-то херню вдогонку.

Я не слушаю, да и мне, если честно, пох*й, кто бы что ни говорил сейчас.

Смотрю на мертвенно – бледное лицо моей красивой девочки: ее ввалившиеся щеки, бескровные губы, и огромные тени под глазами, и меня колотить всего начинает, как припадочного.

Она с каждой секундой все серее и серее, и дышит едва слышно, а я не знаю, что делать, за что хвататься и чем помочь. Просто, бл*дь, не знаю! Глажу ее лихорадочно, сопливо прошу о чем-то, как долбо*б из мыльной оперы, и задыхаюсь от паники, бессилия и дежавю. Кажется, будто мне снова восемнадцать, и я опять ноль без палочки, как тогда, когда Светка-тварь сдала моего сына в детский дом, и я ни хрена не мог сделать.

Я это чувство беспомощности на всю жизнь запомнил и двадцать с лишним лет рвал жилы исключительно для того, чтобы никогда больше, ни на одну гребанную секунду его не испытывать.

В итоге же сижу с миллиардным состоянием и властью, которая восемнадцатилетнему мне и в сказочном сне бы не приснилась, и просто смотрю, как смысл моей еб*ной жизни буквально утекает у меня из рук.

Мне не хочется нести всю эту киношную хуергу, про то, что, если Настьки не станет, то я… Вообще думать об этом «если» не хочу. Да и что я?

Я с того света выкарабкивался с ее именем. И на свободу рвался по одной – единственной причине – к ней, как бы пафосно это ни звучало. Но, когда лежишь в реанимации, жизнь предстает в совершенно иных красках и становиться до смешного простой, и понятной. Все «если» и «но» сразу же отпадают, остается лишь главное.

Моим главным оказалась эта зеленоглазая девчонка. В шаге от того, чтобы откинуться, я убедился в этом окончательно и, мне вдруг стало глубоко похер и на завод, и на двадцать лет вертежа ужом на сковородке в этом сучьем, материальном мире, и что лохом буду и в своих, и чужих глазах, если проиграю Елисеевской кодле – всё стало пустым, тупым и бессмысленным, ибо по-настоящему я нуждался лишь в одном – чтобы моя Настька была рядом. До сбитых об стену кулаков и разрывающего глотку, бессильного рыка хотелось прижать ее к себе и никогда больше не отпускать.

Вокруг творился откровенный п*здец, все летело в тартарары: все планы, здоровье, наработки, а я, словно придурок, таращился в облупленный потолок обшарпанной больнички и думал, как так вообще происходит? Сорок лет себе жил: ел, пил, на работу ходил, трахал кого-то, радовался чему-то, мечтал, стремился и считал, что жизнь вполне удалась, а потом херакс и какая-то соплюшка врывается в нее с воплями через малюсенькую дырку в твоей закостенелой в цинизме броне, и всё… Абсолютно всё начинает крутиться вокруг этого длинноногого недоразумения: все мысли, стремления, мечты – всё вдруг становиться ради нее, а те сорок кажутся безвкусной лажей, несмотря на то, что я люблю свою жизнь и свой богатый по всем фронтам опыт. Однако с Настькой я полюбил жизнь в разы сильнее и как-то так по-особенному, до щенячьего восторга. Поэтому подыхать не собирался, хоть тюремная администрация делала все, чтобы я не выкарабкался, чтоб сломался психологически. Что-что, а

это они умеют.

Когда мне прооперировали почку, у них почти получилось. Я смотрел, как местные лепилы накачивают меня всякой херней и лишь делают вид, что лечат, и думал, что мне кранты. Сил бороться ни физических, ни моральных не осталось. Но перед глазами стояла моя, абсолютно непохожая на себя, Настька, и я понимал, что не могу сдаться, пока не буду уверен, что с ней все в порядке.

Я очень много думал о том проклятом заседании, анализировал, прикидывал варианты. И сам не знал, какой из них принять легче. Как ни крути, дело-дрянь. И все же, ох*евая с самого себя и порывов своей эгоцентричной душонки, я понимал, что пусть лучше предаст сама, по собственному желанию из-за злости, обиды, мести… да, чего угодно, лишь бы все у нее было хорошо, лишь бы никакая сука не тронула.

Я готов был стать лохом, которого на*бала собственная баба. Как последний терпила я бы это схавал и не поморщился. Точнее – «поморщился» бы, конечно, все -таки самолюбия у меня через край, но я бы ей простил. Я бы многое, если не все, смог ей простить, чтобы быть рядом. Но вот чего бы я точно не смог, так это смириться с тем, что не уберег, не защитил, не справился. А по всему выходило, что так и есть.

И нет, я не наивный дурачок, верящий в силу любви и привязанности. Я всякого насмотрелся: кидалова разного, лицемерия и п*здежа, что в пору никому и ничему не верить, но я все равно верил. Настьке моей верил.

На каком-то совершенно необъяснимом уровне знал, что моя она, что любит, что не про нее вся эта падлючья дрянь в виде мести и тайных заговоров. Не такая моя девочка. Не такая и все тут! Как бы тупо и смешно это ни звучало.

По временам, конечно, одолевали меня сомнения и приступы ядовитой злости. Я потешался над самим собой.

– Очнись, придурок, – говорил я себе, – так каждый, ослепленный чувствами, соплежуй думает и свято верит, что его зазнобушка не такая. В конце концов, зачем ей – молодой, красивой девке, у которой все есть, нужен ты – немолодой, женатый, похотливый козел, а теперь еще и уголовник?

И честно, я не находил ответ. Будь на ее месте, послал бы такого фраера далеко и надолго. Ну, может в качестве приключения и интересного опыта, конечно, попробовал бы, но не более. С другой же стороны – у меня ведь тоже, если так по большому счету, особых причин цепляться за нее нет. Вон их сколько бегает красивеньких, умненьких, молодых, с искрой и задором, но нет же, только она нужна.

В общем, как ни крутил, не вертел, а все равно, хоть убей, не верил, что была с Можайским в сговоре. Вспоминал каждый ее взгляд, улыбку, ее отклик и истерики, и не верил. Но тогда по всему выходило, что крыса – Зойка, а это тоже вариант так себе, ибо какой резон?

Да, ей могли пообещать какой-то пакет акций дополнительно, но она ведь не дура: понимает, что делиться с ней им ни на одно место не намоталось. Флюгеров вообще нигде не любят и не уважают, а уж скотин, которые собственных братьев кидают, и подавно. С таким реноме пинка получают сразу, как только перестают быть выгодны. А она перестанет ровно в тот момент, как меня вышибут из гонки. Можно, конечно, еще списать на злость и месть, но тоже ерунда получается. Зойка больше топит за деньги, чем за отношения. Хотя, если все же взыграло у нее, охренею я знатно. Я, конечно, всякого хлебнул и иллюзий лишился начисто, но еще ни разу не видел, чтобы кто-то так цинично и холодно трахнул собственного брата per anum. Это же получается, она даже хуже, чем я, хотя с некоторых пор я был уверен, что достиг крайней степени падения.

Нет, не сходился у меня пазл. Зойка, конечно, существо редкой сучьей масти, но не настолько. Да и что я ей, в конце концов, такого сделал, чтобы меня так откровенно ненавидеть? А иначе, как ненавистью такой поворот не обоснуешь.

Размышляя обо всем этом, я едва на стены ни лез от неизвестности. За Зойкой следили, но ничего подозрительного замечено не было. От Гридасика тоже новостей никаких. Он все не мог выйти на Настькину мамашу, точнее – она демонстративно не шла на контакт, несмотря на угрозы опубликовать новость о ее прошлом и предложении о хорошей сумме денег.

Я ни хрена не мог понять в этой клоаке. Жанна Можайская, хоть и была той еще мразёвкой, а все же на конченную тварь не тянула и, если бы дочери угрожала опасность, наверное, пошла бы на сделку, понимая, что мне нет никакой выгоды от Настьки, а значит мои мотивы вполне понятны. Но то ли ее запугали до потери сознания, то ли нет никакой нужды в моей помощи, и я в самом деле

просто влюбленный полудурок, потерявший связь с реальностью.

Каждый день меня мотало из стороны в сторону от предположений и вариантов развития событий, пока за неделю до побега ко мне на свиданку не заявилась Зойка.

– Вижу, ты совсем охерела, – насмешливо резюмирую, глядя на сестрицу через стекло в комнате для свиданий. Меня колошматит от слабости и телефонная трубка кажется неподъемной, но я старательно делаю вид, что все в порядке, хоть мой видок наверняка говорит сам за себя.

Зойку, конечно же, так просто на понт не возьмешь, поэтому она недоуменно приподнимает бровь и спокойно уточняет:

– И почему же я вдруг охерела?

– Да брось, думаешь, я совсем дурак? – смеюсь через силу, пристально всматриваясь в ее лицо, в который раз жалея, что в свое время не взял уроки у грамотного физиогномиста. Сейчас не гадал бы, что да как, а с точностью в девяносто процентов знал, почему она до побелевших пальцев сцепила руки в замок: проблеск ли это сопереживания, страх ли выдать правду или какие-то неприятности на заводе?

Теперь же остается только смотреть и размышлять: всегда ли она так старательно тянула короткую шейку и держала ли ровно путем неимоверных усилий сутулую спинку? Поджимала ли так густо – накрашенные губенки, и читалось ли в глазах это напряжение? Как ни стараюсь, но ни хрена понять не могу. Интуиция, придушенная родством и привязанностью, тоже растерянно помалкивает.

С одной стороны, Зойка, которую я знаю, никогда бы не стала столь по-сучьи крысить. А с другой – на опыте я не единожды убеждался, что никто никого по сути и не знает. Хорошо, когда ты в каком-то смысле удобненький и взять у тебя особо нечего, тогда и люди не шибко удивляют, и жизнь идет размеренно и ровно. Я никогда удобненьким не был, а поиметь с меня можно дай бог, поэтому и жить размеренно и ровно у меня не получалось: вечно кто-то преподносил «сюрпризы». Но сейчас, несмотря на все уроки, я все еще, как наивный дебильсон, надеюсь, что в отношении Зойки обойдется без них.

– Ну, и сколько тебе пообещали за слив? – продолжаю брать ее на понт.

– Серьезно? – вырывается у нее смешок, но отнюдь не возмущенный, а какой-то такой задушенный, злой.

– Да ладно, Зой, хорош уже корчить из себя розу среди лопухов.

– А оно мне надо, Серёж? – складывает она губенки в снисходительной улыбке. – Мы с тобой уже точки над «i» расставили, поэтому смысла оправдываться и казаться хорошенькой, я не вижу. Меня просто бесит, что какой-то прошмандовке…

– Следи за языком, – сдерживая усталый вздох, прошу ее вполне спокойно.

– Не хочу и не буду! – вскипает она, будто только и ждала подходящего момента, чтобы выплеснуть все, что накопилось. – Уж извини, но мне надоело. С тех пор, как появилась эта девка, ты только и делал, что затыкал мне рот. И вот, к чему это привело, – она красноречиво кивает в мою сторону. Хочу возразить, но Зойка жестом прерывает. – Да знаю я все, что ты скажешь, можешь не утруждаться. Меня уже даже не удивляет, что крайние все, кроме твоей Настеньки. Вы – мужики, когда влюбляетесь, теряете напрочь мозг и вам становиться плевать даже на собственных детей, что уж говорить про сестер и жен. И не говори ничего! – снова отмахивается она от меня, не давая вставить ни слова. – Бог с ним! Если тебе так легче – пребывать в собственных иллюзиях, пожалуйста! Пусть я буду тварью распоследней, а она – верной Пенелопой, ждущей своего Одиссея. Мне не жалко, просто обидно. И не за себя вовсе, а за тебя. В конце концов, как бы там у нас с тобой ни складывалось, ты – мой брат. И когда из тебя лоха делают, у меня вот здесь все горит, наизнанку выворачивается.

Она с жаром бьет себя в грудь, а у меня в горле образуется ком. Здесь – в тюрьме, несмотря на то, что ты никому не веришь и вообще похож на загнанного в угол зверя, даже крошечная эмпатия вызывает бурю в душе.

– Ты можешь, сколько угодно думать, что это я слила им наш телефонный разговор. Можешь верить, что она с тобой была по любви и ее заставили выступить в суде, и прочее. Ради бога! Тешь себя, чем хочешь, но не позволяй

пользоваться твоими слабостями. Подай на апелляцию и в суд за ложные свидетельские показания. У тебя ведь везде в домах камеры, ты в два счета докажешь, что никакого насилия не было, и все, что наговорила твоя Настенька – вранье чистейшей воды.

– Не лезь, куда тебя не просят, – цежу сквозь зубы на голом упрямстве, потому что внутри черте что, особенно, когда Зойка продолжает забираться мне под кожу.

– А я буду лезть, Серёж, хотя бы в память о маме. Понимаю, ты влюбился до соплей, все мы когда-то так влюбляемся. Но ты ведь не дурак, знаешь, что все проходит. И это пройдет, Серёжа, уже прошло. На вот, полюбуйся, как твоя Пенелопа «днем ткет саван, ночью распускает», при этом прекрасно зная, что ты лежишь в реанимации и борешься за жизнь, – она достает из сумочки стопку фотографий и медленно раскладывает их на полочке перед стеклом. Я еще ни хрена толком не успеваю понять, просто смотрю жадно на мою Настьку.

Красивая она. Ох*енно красивая. Мне кажется, я ее такой красивой никогда не видел. Чувство, будто сияет изнутри. Она снова поправилась, но это тот случай, когда килограммы не портят женщину, а делают еще более манкой, сексуальной, цветущей. Если раньше секс в ней можно было обнаружить, только приглядевшись, то теперь он бил ключом из каждой черты ее лица и изгиба тела.

Я жру ее взглядом, как оголодавший, как долбанный фанатик и схожу с ума от невозможности прикоснуться. Но постепенно, помимо нее, начинаю различать фон и происходящее. Внутри все натягивается, как тетива перед выстрелом, когда, наконец, замечаю рядом с ней явно поплывшего Елисеева.

Он не сводит с нее похотливых глазенок, она же на одном из фото кокетливо улыбается ему, на другом заливисто смеется, на третьем – они о чем-то шепчутся, а на четвертом – я получаю удар под дых. Тот, кто фотографировал, сидел на ярус ниже столика Елисеева, и на фото отлично видно, что происходит под ним: рука этого у*бка уверенно устроилась на Настькином бедре и, судя по выражению ее лица, она очень даже не против – спокойно, с улыбкой что-то говорит этому козлу, словно между ее ног его лапе самое место.

Сам не замечаю, как подскакиваю со стула, и он с грохотом валится назад. Дежурный тут же стучит по стеклу, призывая к порядку. Вспомнив, где я, поднимаю руки в примирительном жесте и сажусь обратно. Меня рвет на куски, кипит все, бурлит, как в плотно – закрытом, раскаленном докрасна баке. Я ни хрена не могу проанализировать, обдумать, прикинуть, словно мне по башке шарахнули.

Смотрю снова, зверею и в то же время…

– Нет. Х*йня это все! – упрямо припечатываю кулаком по столу. – Можно подтасовать, выбрать нужные кадры. Да, бл*дь, просто-напросто заставить!

– Да-да, конечно, продолжай и дальше так думать, пока твоя Настенька с Елисеевым отлично проводят время где-то… кажется говорили, на Карибах, – иронизирует Зойка.

Я втягиваю с шумом воздух и снова поднимаюсь, не в силах ни смотреть на эти фотографии, ни сдерживать цунами, накрывающее меня с головой. Это не ревность, не боль, не злость, не шок, это что-то такое, что вряд ли имеет название. Я сам не понимаю, что чувствую, я просто ох*еваю. Такое ощущение, что очнулся в дурдоме и понял, что ты – блаженный шизик, и вся твоя жизнь – не более, чем шизанутая фантазия.

Чему верить? Своим собственным глазам, сестре, которая памятью матери божится или вот этому непонятному, ворочающемуся в груди?

– Если хоть малейшая ниточка этого дела ведет к тебе… – резюмирую, не видя смысла продолжать этот разговор. – Я ухвачусь за нее, и будь уверена, буду тянуть до тех пор, пока вся твоя жизнь не разойдется, нахер, по швам.

Зойка усмехается и закатывает глаза.

– Узнавай, Серёж, мне скрывать нечего, – снисходительно отзывается она. – Я тебя ни разу за тридцать пять лет не подводила, не вижу смысла делать этого сейчас, хотя твое отношение, конечно, за гранью свинства. Но да бог с ним, я здесь не для того, чтобы обсуждать твои иллюзии.

– Вот как? – хмыкаю, недвусмысленно глядя на аккуратно разложенные фотки. – И для чего же?

Зойка делает вид, что намек не поняла и переходит сразу к сути.

–Ну, поскольку в планы свои ты меня не посвящаешь, а дела на заводе в связи с твоим ранением встали, да и дожидаться каждый раз свидания, чтобы получить твою подпись, сам понимаешь, создает ряд неудобство, мы с советом директоров решили предложить тебе перейти на доверительное управление.

Она заливается соловьем о плюсах и отсутствии рисков доверительного управления, а я едва сдерживаюсь, чтобы не заржать.

Вот ведь сука драная! Хочет одним выстрелом двух зайцев: и почву пробить, и заодно временное управление получить. Хитро-хитро. Понятно, что, если передам ей завод, значит – планов у меня никаких нет, а если откажусь, то что-то замышляю. Однако, она не учла, что есть еще вариант «на подумать». Пусть в сложившихся обстоятельствах он не выгоден от слова «совсем» и, конечно, было бы лучше отдать свою долю под доверительное управление, но я всегда славился самодурством, поэтому вряд ли удивлю и вызову подозрения в блефе.

– Передашь мне через начальника тюрьмы договор. Я прочитаю, обдумаю, обсужу с адвокатом, и тогда уже приму решение, – распоряжаюсь, когда Зойка заканчивает свою проникновенную речь о том, что лучшее нее управляющего быть не может. Естественно, она тут же вскипает.

– Господи, я же тебе уже объяснила, что это нормальная практика, когда человек не может непосредственно заниматься управлением. Что тут думать? Мы и так за этот месяц понесли колоссальные убытки…

– Я все сказал! – отрезаю безапелляционно и поднимаюсь, чтобы уйти, но какой-то черт дергает, и подняв трубку, добавляю. – И фотки эти тоже передай.

Зойка втягивает с шумом воздух, но послушно кивает.

Через пару часов мне приносят передачку от Зойки. Лажу про доверительное управление даже не открываю. Побег был уже на мази, поэтому никакой

надобности в управляющем я не видел. Да даже, если бы и видел, десять раз подумал. Это в Европе нормальная практика доверять кому-то свои активы, а в нашей стране на*бательств – рискованная затея, даже, если брать в управляющие сестру, которая по факту никогда за тридцать пять лет не подводила, какой бы сукой не была. Но то, что она что-то мутит нет никаких сомнений.

Однако сейчас все мои мысли занимали гребанные фотографии. Я смотрел, и у меня в голове не укладывался этот п*здец. Ладно бы там пацан молодой, я бы еще понял, но этот линялый выпердыш… Ну, это же – фу.

Чтоб молодой девчонке на такое повестись, надо либо очень любить бабки, либо быть извращенкой. Настька ни то, ни другое. Тогда какого хрена она лыбиться во все тридцать два, да еще и уехала с этим гандоном?

Увидев на фотках, как она садиться к нему в машину, я снова вскипаю. Меня разрывает от бешенства, стоит только представить, что она трахалась с ним. Вскочив, не взирая на слабость, меряю шагами палату и бессильно сжимаю кулаки.

Может, заставили? Но опять же, почему тогда раньше со стороны этого ушлепка не было никаких поползновений? Или были, но она не говорила, чтобы не обострять? Или он из тех ебл*нов, которые накидывают бабе цену в зависимости от того, насколько премиальный мужик ее до него трахал? Не удивлюсь, если так, у этого хмыря на роже написано, что он извращенец. А может и правда, как Зойка говорила, вообще у них там что-то с самого начала было, и он ее под меня подложил. Есть же эти всякие куколды, и прочие долбанаты, которых возбуждает, когда их бабу полирует другой мужик.

Представив Настьку в такой постановке, становиться смешно.

Нет, дичь какая-то. Я же не совсем идиот, чтобы меня можно было так развести, да и из Настьки актриса никакая. Однако, стоило только пересмотреть фотографии, как снова начиналась какая-то бесовщина, и меня несло в бредовые дали.

Я сходил с ума от ревности и собственнической херни. Метался по палате, как невменяемое животное, и едва башкой не бился об стену от неизвестности. Мои

люди пересказали мне ровно все тоже самое, что и Зойка: Настька и Елисеев действительно были вместе на каком-то благотворительном вечере, как пара и покинули его тоже вместе, а теперь, судя по слухам, где-то отдыхают. Слухи меня, естественно, не устраивали, мне нужна была точная информация, но к сожалению, Елисеев принадлежал к той недосягаемая касте, что и я, которая отличается полнейшей закрытостью и умением не оставлять следов, если мы не хотим их оставлять. Нарыть, конечно, можно было и мои люди рыли, но на это требовалось гораздо больше времени.

Все, что мне пока оставалось – это додумывать. И воображение щедро подкидывало бл*дские картинки, одну краше другой. В них Настька, широко раскинув свои длинющие ножищи, протяжно стонала под этим гандоном, как и когда-то подо мной: негромко так, без истерик и желания заткнуть ей глотку. Настолько эротично, что у меня озноб всегда пробегал по коже от каждого ее придушенного кайфом стона. Я, будто наяву слышал эти стоны, и разум окутывало кровавой пеленой бешенства.

Убью! Убью суку, если правда с ним спуталась. Плевать, что расстались до суда, что право имеет. На все мне плевать. Моя она. Моя и точка! – повторял я маниакально, как псих какой-то, отбитый на всю башку.

На утро самому становилось смешно от собственного кретинизма. Какое убью? Я же сам сдохну.

Вымотанный ночной агонией, я успокаивался, разум прояснялся, и ситуация виделась иначе. Я вспоминал наши с ней счастливые моменты, и снова не верил во всю эту погань, к ночи, правда, опять просыпались мои демоны и все выстроенные за день логические цепочки летели по одному месту.

Так меня мотало изо дня в день, из ночи в ночь. Но, как говорится нет худа без добра. Мой невроз хорошо взбодрил команду, и побег удалось организовать на две недели раньше. Не обошлось, конечно, без ошибок, но в таком деле чисто сработать просто невозможно. Впрочем, меня это мало заботило. Я горел лишь одним: мне нужно было знать, все ли с Настькой в порядке. Я должен был убедиться, что она в безопасности. Что эта безопасность будет означать, старался не думать. А зря. Очень зря. Ибо я оказался не готов. Ни к ненависти, ни к ярости, ни к показушным признаниям.

У меня крыша от одной встречи ехала, а тут и вовсе сорвало. И нет, не потому что несла всю эту чушь про Елисеева, я ее и не слышал толком, настолько захлестнули эмоции. Но эта ненависть, с которой она хлестала меня по лицу, этот ее взгляд озверевший, словно на кусок дерьма… Я не знал, как реагировать. Ее, будто в припадке каком-то било.

Наверное, надо было отрезвить пощечиной, но даже сгорая от бешенства, ударить ее у меня рука не поднималась. Зная, это звучит смешно, учитывая, что я с ней сделал. И я не пытаюсь оправдаться, это невозможно. Но правда в том, что я не пытался ее унизить или наказать. Я просто тупо испугался. Мне нужно было убедиться, что эта ее ненависть – это просто обида, что на самом деле она по-прежнему любит, хочет и всегда для меня готова.

Да, вот так примитивно, первобытно, дико. Слушаю себя самого и оторопь берет. А ведь сорок лет долбо*бу. Что теперь делать, не знаю. Смотрю на нее, и все внутри в тиски сжимает. Только сейчас замечаю, как она снова похудела, какой у нее изможденный вид, и что никаким отдыхом тут и не пахнет. Прокручиваю в голове этот ее крик в спальне, этот ужас и мольбу не трогать, и меня самого от ужаса колотить начинает.

Что, если изнасиловали? Что, если измывались, и мать не сумела защитить? Что, если этот гандон заставил? Но тогда почему так переживает о ребенке? Разве можно его после такого хотеть?

На мгновение проскакивает шальная мысль, что, возможно, это мой ребенок, но прикинув сроки, исключаю ее. Уже должен быть виден небольшой живот, а у Настьки он и вовсе ввалился.

Бл*дь, я с ума сойду от всех этих непоняток и нервяков! К счастью, подъезжаем к больнице.

Забыв обо всем, выскакиваю из машины, но Гридас охлаждает мой пыл. После минутного спора, ему-таки удается мне втолковать, что идти вместе с ними нет никакого смысла и лучше не отсвечивать раньше времени. Сцепив до скрежета зубы, возвращаюсь обратно в машину, и снова сжираю себя заживо, прокручивая в памяти прошлую ночь.

Меня передергивает от самого себя, от того, что я ей наговорил, но главное, от того, что не услышал и даже не почувствовал ее «нет».

Как? Как настолько можно потерять контроль над собой, над своими эмоциями? Я не знаю. Я просто, бл*дь, не знаю! Как не знаю, что будет дальше: как вообще посмотрю ей в глаза и как исправлю то, что натворил. Ведь как-то придется, иначе в чем смысл, если ее не будет рядом?

Не знаю, сколько часов я варюсь в этом чувстве вины и самобичеваниях, но я настолько погружаюсь в них, что даже пропускаю момент, когда возвращается Гридас.

– Выдыхай, Серёг, – хлопает он меня по здоровому плечу, возвращая в реальность. – Врач сказал, угрозы жизни нет. Состояние стабильное.

– А ребенок? – подскакиваю на месте и смотрю на него диким, воспаленным взглядом.

– Этого он мне не сказал. Я на панике затупил, признался, что никто ей, поэтому он со мной шибко ничего не обсуждал.

– Ну, а денег че не предложил? – тут же взбеленился я.

– Я предложил, но он принципиальный, – развел Гридасик руками, вызывая у меня еще большее раздражение.

– Плохо, значит, предлагал, – цежу сквозь зубы и выхожу из машины.

– Серёг, не дури. Поймают, и все коту под хвост. Щас я улажу, – пытается он меня остановить.

– Отъеб*сь, Гридасик, не лезь под руку! Я и так еле держусь, – отмахиваюсь от него и иду дальше.

– На, хоть кепку надень, – догоняет он меня снова.

На ходу натягиваю бейсболку и, выслушав, куда идти, и к кому обращаться, захожу в больницу. Где-то в области диафрагмы начинает гореть, и малодушно хочется сбежать. Перед отделением гинекологии стою, как последнее ссыкло, минут десять. Не могу решиться, хоть убей, ибо чувствую, разговор с этим «принципиальным» размажет меня, как ботинок дерьмо по асфальту.

Однако Нострадамус из меня все-таки херовый. Спустя пару минут спора с Настькиным лепилой не меня размазывает, а я сам едва сдерживаюсь, чтобы не размазать врачишку. Паренёк и в самом деле принципиальный до усрачки. В другое время такое отношение к работе, конечно, впечатлило бы и вызвало уважение. Однако сейчас я был слишком взвинчен, чтобы по достоинству оценить чей бы то ни было профессионализм.

– Я вам последний раз повторяю: диагноз пациента, его история болезни – это сугубо конфиденциальная информация, которую я не имею права разглашать ни под каким предлогом! – чеканит очкарик в белом халате, заметно нервничая. Оно и понятно. Видок у меня даже в люксовом шмотье чисто зэковский. Можно, конечно, этим воспользоваться и припугнуть «принципиального», раз на деньги он не ведется, но я не настолько свинья, чтобы угрожать человеку, который всю ночь не спал, пытаясь спасти мою Настьку, поэтому втягиваю с шумом воздух, призывая на помощь все свое самообладание, и спокойно давлю на нужные кнопки.

– Слушай, доктор, я не хочу грубить и быть неблагодарным. Понимаю, профессиональная этика, врачебная тайна – вся фигня. Но, насколько мне известно, твой главный принцип – «Не навреди». Ты же сейчас только усугубляешь ситуацию. Она и дошла до такого п*здеца исключительно из-за молчания, поэтому не нагнетай еще больше. Сама она, – киваю в сторону палаты, – не скажет. А мне нужна полная картина, чтобы в дальнейшем ничего подобного не повторилось.

– Полагаю, у моей пациентки есть основания, чтобы не посвящать вас в свои проблемы, – продолжает врачишка стоять на своем, чем выводит из себя.

– У твоей пациентки, – цежу сквозь зубы, – возраст такой, когда идиотские принципы и гордость важнее здоровья, но ты -то уже вроде взрослый мальчик.

– Взрослый, – соглашается он. – И именно о том, чтобы не навредить я думаю в первую очередь. Откуда мне знать, кто вы и что сделаете с девушкой, если я расскажу подробности? Извините, но вы у меня абсолютно не вызываете доверия, а учитывая причину, по которой девушка сейчас здесь, то и вовсе не мешало бы вызвать милицию.

Я тяжело вздыхаю и поднимаюсь со своего места. Врачишка шарахается к двери.

– Да не ссы ты, – поморщившись, подхожу к окну и, облокотившись на подоконник, смотрю на розовеющее небо. Я мог бы парой звонков решить вопрос с этим дуралеем, и он бы в два счета слетел с места. Третьи сутки без сна на постоянном нервяке очень располагают к такому повороту событий, но я и без того слишком много говна наворотил в своей жизни. И, судя по всему, бумеранг – это не какая-то философская х*евина, а вполне себе реальная, поэтому не хочу добавлять в копилку своих косяков еще и этот. Пара минут моего времени – не восемь лет учебы в Медицинском университете.

– Значит так, дружище, – предпринимаю последнюю попытку решить все мирным путем, – я уважаю твою профессию и принципы, но у меня сейчас нет времени, да и состояние не то, чтобы что-то доказывать. Ты сам прекрасно понимаешь, что я могу сильно испортить тебе жизнь, если захочу. Однако у меня тоже есть понятия. Я тебе благодарен за помощь и за то, что сейчас на свой страх, и риск пытаешься защитить права моей… – запнувшись, застываю, не зная, как обозначить Настькин статус.

Девушки? Смешно. Какая, бл*дь, девушка в сорок лет?! Женщины? Еще смешнее. Сопля она, а не женщина. Любовницы? Пошлятина.

– Жены, – ляпаю, чтоб уж совсем дебилом не выглядеть. У врачишки недоуменно взлетает бровь, я и сам в недоумении. Какого вообще стою тут, парюсь?

– Так она ваша жена? – уточняет недоверчиво очкастый додик. Первая мысль – послать -таки его к еб*ням собачьим, но вовремя себя торможу, понимая, что это еще канители на час, а я настолько заеб*лся, что сил никаких.

– Она – моё всё, – признаюсь устало и даже не морщусь от того, насколько сопливо звучу. Зато врачишка краснеет, словно это он тут себя наизнанку вывернул, но мне уже как-то похер. – Давай, Игорь Валерьевич, не тяни кота за

причинное место. Так или иначе я получу информацию и, если кому и будет хуже, то только тебе.

Игорек, насупившись, поджимает губы и садится обратно за стол.

– Что конкретно вы хотите знать?

Ты еб*нутый? – хочется мне спросить.

– Ну, конечно, что с ребенком, – раздраженно поясняю вслух. Все-таки этот малохольный меня бесит.

– С каким еще ребенком? – смотрит он на меня, как на сумасшедшего. Я тоже, как придурок, таращусь на него во все глаза и понимаю, что ни хрена не понимаю.

– То есть ребенка не было? – чувствуя себя, будто в какой-то трагикомедии, уточняю осторожно.

– Сейчас нет, – также аккуратно тянет врачишка и отводит взгляд, а мне будто под дых прилетает. В голове начинает вспыхивать сотня вопросов, но, затаив дыхание, выдавливаю лишь один:

– А когда… был?

– Полагаю, – помедлив, вздыхает тяжело Игорек, – ваша жена была абортирована несколько недель назад. Причем, таким коновалом, что я бы не то, что диплом врача не дал, руки бы отрубил! Естественно, есть ряд осложнений…

Он грузит меня кучей терминов, а я ни хрена не слышу. В ушах стоит звон, словно по башке прилетело, внутри же все стягивает в крепкий, тяжелый узел от осознания, что это значит – «была абортирована несколько недель назад». Меня начинает трясти.

– Ее что, изнасиловали? – сам не замечаю, как произношу вслух и, пошатнувшись, оседаю на подоконник.

– Судя по микроразрывам, – прорывается сквозь звенящий вакуум голос врача, – жесткий секс или насилие имело место быть. А поскольку времени после гинекологического выскабливания прошло недостаточно, то возобновлять на данном этапе половую жизнь, тем более, таким образом, ни в коем случае было нельзя. Мне сейчас сложно оценивать картину, так как плюсом ко всему у девушки началась менструация, а с учетом того, что после аборта или выкидыш это был – не знаю, но на лицо гормональный сбой, так вот в связи с этим кровотечение очень обильное. Также на фоне стресса наблюдается термоневроз…

Что за термоневроз, причем тут менструация и про что он вообще говорит, я все никак не вкурю. Меня заклинило на «была абортирована», и я хватал воздух ртом, как выброшенная на берег рыбина, пытаясь хоть как-то упорядочить в голове этот п*здец.

– Да стой ты, не тарахти! Говори нормально, русским языком! – обрываю торопливую речь врачишки.

– А что тут непонятного? – огрызается он, теряя терпение. – Говорю же: несколько недель назад ей провели гинекологическое выскабливание. Аборт ли это был или выкидыш, я не знаю! Знаю только, что провели ужаснейшим образом, выскоблили под ноль. Неизвестно теперь сможет ли ваша жена иметь детей. Так мало того, там еще не зажило все, а вы… или кто там… полезли к девушке. Хорошо, что разрыва не было, а то бы сейчас не со мной разговаривали, а с патологоанатомом.

– Я понял, – выдавливаю через силу и на автомате спрашиваю. – Что теперь?

– Теперь, как минимум, неделю она проведет здесь у нас, в больнице, а после можно будет восстанавливаться дома. Естественно, в течении месяца никаких нагрузок, тяжестей, секса. Остальные рекомендации я подробно распишу в листе назначений.

Я снова машинально киваю и, кое- как собравшись с мыслями, произношу:

– Отведи меня к ней.

Очкарик открывает рот, чтобы что-то возразить, но, видимо, поняв, что лучше не стоит, ведет меня в палату. Гридас оплатил отдельную, поэтому кроме Настьки и порхающей вокруг нее медсестры там никого нет.

Впрочем, мне сейчас все равно. Ничего не замечаю вокруг, не чувствую, меня, будто парализовало. Смотрю на Сластёнкино безжизненное, восковое лицо и дышать не могу. Горит все внутри. Такая тяжесть, словно плитой придавило.

Я пытаюсь что-то осознать, понять, но мысли, как бешеная карусель, крутятся в голове, и я не могу ни за одну ухватиться. Это, как нокаут, когда ты вроде бы в сознании, барахтаешься че-то, барахтаешься, а встать не можешь.

Опускаюсь на колени возле кровати, прямо на пол. Поискать стул даже в голову не приходит. Касаюсь осторожно губами холодной, тоненькой ручки, и вот тут накрывает. До меня, наконец, начинает доходить, что я наделал и что произошло.

Ее все-таки изнасиловали. С ней, черт знает, что еще делали, чтобы заставить выступить на суде, а я… Вспоминая, как нагнул ее над кроватью и нес всю эту ересь в порыве бешенства, хочется зажмуриться, и не знать.

Не знать, в какого конченного у*бка я превратился в глазах любимой женщины. Правильно она все сказала: слабак, никчемный кусок дерьма, который ни хрена не смог. Ни защитить, ни помочь, ни даже просто попросить прощение. Теперь понятна и ее злость, и ненависть, и почему себя так вела. Ей, кроме меня, не на кого было надеяться, а я – тупая скотина.

– Прости, маленькая, прости меня, мудака! – снова зажмурившись, лихорадочно шепчу, горячо целуя ее руку. Меня трясет, как пса помойного, промокшего под дождем и тошно от самого себя. Смотрю на ее обрезанные под корень ногти, даже не подпиленные, и в который раз спрашиваю себя: «как?». Как можно быть таким дебилом?

Какой отдых? Какой Елисеев, долб*еб – ты сказочный? Она же измученная вся. Как можно было этого не увидеть? Как? Ты же знал, чувствовал, что все п*здеж и вранье!

Словно ужаленный, подскакиваю и отхожу к окну. Сжимаю до побелевших костяшек подоконник и, стиснув зубы до скрежета, раскачиваюсь туда – сюда, не в силах сдерживать эту, разрывающую меня на части боль.

Перед глазами она – моя маленькая девочка, – одна среди толпы голодных шакалов, и я, который ни хрена не может сделать. Только рваться диким зверем в цепях собственного бессилия. Мне хочется сдохнуть на этом же месте, ибо я прекрасно знаю, как баб пускают по кругу, что там с ними делают.

Содрогнувшись, впечатываю кулак в подоконник, чтобы сдержать этот отчаянный вопль, разрывающий горло и грудь. Воздуха не хватает.

Лучше бы это меня вы*бали в камере. По кругу, все вместе, во что угодно. Я бы это пережил, я бы смог, не сломался бы. Скотины, вроде меня, многое могут вынести, но только не когда ломают в них то единственное, светлое, человеческое, уязвимое. И я не могу. Не могу. Не могу!

Знаю, что тысячу раз заслужил, чтобы судьба поставила меня на колени, но почему моя женщина должна стоять рядом со мной?

Глупый, конечно, вопрос. До смешного наивный, но осознавать, что ты потратил всю свою жизнь, чтобы быть на вершине социальной лестницы, чтобы никто никогда не смог к тебе подобраться, а в итоге поплатился за это самым дорогим, что у тебя есть – это божественный уровень насмешки и тотальное разочарование. Двадцать лет борьбы, грызни, интриг и подковерной возни – все зря. Целая жизнь впустую, ибо какой смысл? С кем делить, с кем радоваться, если самое дорогое теперь лежит сломанной куклой и смотрит на меня все понимающим, пустым взглядом.

Несколько долгих минут мы, молча, смотрим друг на друга. Надо бы что-то сказать, спросить, а я не могу.

Стыдно.

Впервые в жизни я по-настоящему стыжусь себя. За все, что сделал, а главное, за то, что не сделал и не смог сберечь ту смущающуюся от каждого слова, мечтательную девочку, подарившую мне всю себя.

Теперь от нее осталась лишь бледная тень, переполненная горечью. Эта горечь вкупе с абсолютнейшим безразличием в зеленых, потухших глазах распинает меня, будто на кресте. Сглатываю острый, застрявший где-то в глотке, ком, Настя же, поморщившись, отводит взгляд, словно ей противно смотреть на меня. Впрочем, мне самому противно, особенно, когда выдавливаю это убогое:

– Как ты, маленькая?

После всего, что я с ней сделал, задавать этот вопрос – извращение в чистом виде, но и не задать тоже ни в какие ворота.

– Пить… хочу, – хрипит моя девочка, отвлекая меня от очередного приступа самобичевания.

– Нельзя, Настюш. Через пару часов только можно будет, – вспоминаю наказ медсестры. – Позвать врача?

Настя тяжело вздыхает и, ничего не ответив, устало прикрывает глаза. Через пару минут я снова остаюсь наедине с мысленным волком, готовым сожрать меня с особой жестокостью. На репите, словно заезженная пластинка прокручивается вся ситуация. Красочные картинки мелькают одна за другой, вызывая удушье и дрожь, и в то же время я чувствую что-то неправильное, нелогичное во всем этом. Оно жужжит назойливой мухой, будто хочет что-то сказать, но я никак не могу уловить, понять, что именно.

Мечусь по палате, словно псих. В какой-то момент даже начинаю считать шаги: пять в ширину, восемь – по диагонали, шесть – в длину. Пять, восемь, шесть. Шесть, восемь, пять. Восемь, пять, шесть. Шесть, пять, восемь…

Измотав себя до состояния какой-то горячки, падаю на стул рядом с койкой и, стиснув в ладонях кипящую голову, пытаюсь хоть немного сконцентрироваться, упорядочить мысли, но куда там? Чувство, будто заживо горю. Так продолжается, пока не натыкаюсь взглядом на Настькины руки, сложенные домиком на животе.

Застываю на несколько долгих секунд и, кажется, перестаю дышать. Я еще ничего не успеваю осознать, а внутри уже все цепенеет, в голове же вспыхивает тот самый не вписывающийся в картину, еще в машине настороживший меня,

вопрос: почему она так переживала за ребенка, если изнасиловали? Инстинктивно я тут же пытаюсь придумать кучу объяснений, но «Аннушка уже разлила масло». Картинка начинает на глазах рассыпаться под градом вспыхивающих вопросов и несостыковок, пока, наконец, на поверхность не всплывает то, отчего я так старательно весь последний час пытался убежать.

А что, если все-таки мой? – глядя в измученное, бескровное лицо, предполагаю обреченно.

Нет, нет, нет! – отчаянно трясу башкой и чувствую, как внутри начинает дрожать, ибо ответ я уже знаю. И с ним всё, абсолютно всё встает на свои места: и почему звонила тогда после расставания и откуда взяла смелость подойти ко мне на дне рождении, и почему сбежала тогда, и ради чего вывалила все в суде.

Наверное, это шок, ибо я не понимаю, как оказываюсь на улице, да и то, что я на улице до меня доходит только, когда ко мне подлетает Гридасик.

– Серёга, ты совсем что ли отъехал? Столько народу вокруг! – дергает он меня за рукав толстовки и тащит к машине, а мне уже пох*й, кто меня увидит, и что весь побег пойдет по одному месту. В голове крутиться лишь одно – она была беременна от меня, беременна моим ребенком. Ребенком, которого эти у*бки убили.

Вырвавшись из хватки Гридаса, со всего маха впечатываю кулак в машину. И меня накрывает дикой, безысходной, на грани помешательства болью. Теряя всякий контроль и человеческий облик, бью снова и снова, и снова. Кулаками, ногами, со всей дури, сдирая кожу и отбивая себе все к чертовой матери только, чтобы хоть на миг облегчить это душащее меня бессилие.

Из груди рвется что-то отчаянное, неконтролируемое, и мне хочется выть раненной зверюгой до сорванных связок на весь этот проклятый мир. Мир, в котором бл*дски, невыносимо тошно и так, сука, больно, что хочется сдохнуть прямо здесь, только бы не знать, что с моей Настькой сделали и как она боролась за нашего ребенка. Но все, что могу – это, захлебываясь нечеловеческой злобой и выворачивающим нутро бессилием, повторять:

– Суки! Бл*ди! Мрази!

Оступившись, падаю, боль слегка отрезвляет. Обессиленно прислоняюсь к бронированной двери и, словно законченный псих, продолжаю бормотать:

– Убью! Найду каждого и убью голыми руками! Вы мне за все ответите, твари! За все!

Вот только от этих планов мести легче не становится, ибо главная сука, бл*дь и мразь – это я.

Один звонок… Прими я один – единственный звонок, и все было бы иначе.

Представив мою девочку беременную, цветущую и сияющую, прикусываю сбитый козанок, не в силах сдерживаться и, зажмурившись, прикладываюсь затылком об дверь, но не могу вытравить этот образ. Четко, как никогда, осознавая, что так выглядит счастье, так выглядит мечта.

Мечта, которую разорвали на ошметки, истоптали, испоганили, перемололи, будто в мясорубке. И как теперь собрать обратно, что вообще делать, я не знаю. Я просто не знаю.

Никогда раньше не кормил себя иллюзиями, но сейчас малодушно хочется ухватиться за мысль, что мои предположения могут быть ошибочны и, возможно, все не так, как я себе рисую. Однако, объективно понимаю, что моя жалкая надежда не выдерживает никакой критики. Логика, как и факты, – штука упрямая, а значит все так, если не хуже, и теперь надо найти в себе силы, чтобы окончательно убедиться в этом.

Словно прочитав, какое направление приняли мои мысли, ко мне подходит Гридас и, присев на корточки, осторожно предлагает:

– Серёг, может, в машину сядешь? Много внимания привлекаешь.

Только сейчас замечаю, что сижу на асфальте посреди парковки, и вся больница от пациентов до санитарок, едва из окон не выпрыгивает, наблюдая за моим припадком. Что они думают, и каким дебилоидом я выгляжу со стороны, мне насрать, но Гридас прав, светить рожей, пока эта гнида – Елисеев спокойно дышит, нельзя. Сначала вся его кодла сдохнет, а потом хоть трава не расти.

С этими мыслями поднимаюсь и, не обращая внимание на попытки Гридаса вразумить меня, иду в палату. Пора узнать всю правду, хоть я и слабо представляю, как спрошу о ней Настю.

Застыв перед дверью, сразу не решаюсь войти, но тут же отвешиваю себе мысленного леща. Тошно становится от этой, вдруг откуда-то взявшейся, трусости и робости.

– Лучше бы ты так робел, придурок, когда трусы с нее стягивал, – цежу зло и, перебарывая себя, открываю дверь.

Взгляд в сторону кровати подобен прыжку без страховки, поэтому, когда вижу, что Настя спит, невольно выдыхаю с облегчением, хотя перспектива томиться в ожидании и неизвестности сводит с ума.

Наверное, лучше было поехать к Томке на базу, привести себя хоть в какое-то подобие человека, да и не мешало бы посмотреть, что с плечом. Судя по промокшей повязке и пульсирующей боли, шов разошелся. В приступе бешенства я совсем про него забыл. Да и что шов? Когда вся жизнь в лоскуты.

Сейчас я не мог ни о чем думать, кроме ребенка, которого не случилось. Меня будто заклинило. Я снова представлял, что было бы если…, и готов был на стену лезть от сожаления, и невозможности отмотать ленту жизни назад. Пожалуй, нет ничего хуже понимания, что ты совершил непоправимую ошибку; что был другой путь, но ты упрямо шел этим, уверенный в своей правоте. Раньше я никогда ни о чем не жалел, считая это пустой тратой времени. Как говорится: все, что ни делается – все к лучшему. И да, многое можно переиграть, переиначить, но не когда на кону жизнь твоего ребенка и здоровье твоей женщины.

Все-таки чувство юмора у Высших Инстанций поганое. Не зря, видимо, говорят, бойтесь своих желаний. Я ведь хотел, чтобы Настька родила мне ребенка. Если бы знал, чем придется подписываться под этим «получите и распишитесь». Если бы я только знал… Теперь остается лишь посыпать голову пеплом.

Без понятия, сколько я так сидел и размышлял о превратностях судьбы, но в какой-то момент усталость-таки взяла своё, и я просто-напросто отключился.

Проснулся, ни хрена не соображая, с ощущением, будто меня отхерачили. Голова гудела, шея и спина онемели, сбитые козанки воспалились, отчего руки стали напоминать кувалды.

Поморщившись, пытаюсь пошевелиться, но тут натыкаюсь на пристальный Настькин взгляд. Ее бодрый, насколько это вообще возможно в ее состоянии, вид моментально приводит в чувство. Внутренне подобравшись, торопливо встаю и, нервно потерев заспанную рожу, застываю, не зная, что сказать. От неловкости оглядываюсь по сторонам.

За окном уже глубокая ночь, значит проспал я порядка десяти часов.

Не слабо. Впрочем, удивляться нечему. У всего есть предел, у моего организма тоже. Не вовремя он, конечно, настал, теперь чувствую себя котом, обоссавшим палас.

– Ты это… давно…ну… не спишь? – спрашиваю, спотыкаясь на каждом слове, словно имбецил.

– С тех пор, как ты начал храпеть на все отделение, – отвечает Настька абсолютно-лишенным эмоций голосом. В другое время я бы решил, что шутит, и посмеялся бы, сейчас же не знаю, как реагировать.

– Как ты себя чувствуешь? Что сказал врач? – преодолеваю, наконец, свой ступор, чтобы в следующее мгновение вновь в него впасть.

– Как это мило с твоей стороны – интересоваться моим здоровьем после того, как сам же отправил меня на больничную койку, – тянет Настька с ядовитой усмешкой, меня же, будто кипятком ошпаривает стыд.

Отвожу взгляд и снова не знаю, что сказать. Извиниться? Нужны ей мои извинения, но и стоять, молча, потупив глаза в пол, как провинившийся школяр, тоже нет никакого смысла.

– Давай уже, поговорим, Насть, – тяжело вздохнув, резюмирую устало. Но ей, естественно, хочется, как следует, поиздеваться, прежде, чем пустить контрольный в голову.

–А осталось о чём? – снисходительно уточняет она. Я морщусь. Понимаю, что ей хреново и необходимо выплеснуть все, что накопилось, но я так устал играть в этот словесный пинг-понг, поэтому мягко прошу:

– Ты и сама знаешь, что осталось. Давай, не будем ходить вокруг да около. У тебя еще будет миллион возможностей оторваться на мне…

– Ну, надо же! – ухмыляется она. – Прямо-таки аттракцион неслыханной щедрости.

– Настя.

– Что Настя? – повысив голос, подается она вперед, обжигая мне взглядом, полным ненависти. – Где было твое желание поговорить и все выяснить, когда ты решил трахнуть меня «на сухую»? Тебя ведь тогда ничего не смущало. Настька – продажная шлюха вполне вписывалась в твою картину мира. А сейчас что? С чего вдруг такая скорбная мина?

– Я…

– Что ты? Виноват? Сожалеешь?

– Настя, я понимаю, что по всем фронтам облажался, – сам не знаю, что пытаюсь объяснить, но она и не позволяет.

– Ты ни хрена не понимаешь!

– Пусть так, но…

– Нет никаких «но»! На все «но» ты вчера ответил, когда поставил меня раком. А теперь можешь идти на х*й со своими разговорами, вопросами и прочей херней! Или лучше обратись с ними к сестрице. Она, как никто, в курсе ситуации. Осветит тебе ее со всех ракурсов.

Наверное, я еще на что-то надеялся в отношении Зойки. Никак не мог поверить, что девчонка, прикрывающая меня сначала от отца, а потом во всех делах, может в самый нужный момент подвести и не просто подвести, а ударив по

самому дорогому. От осознания, что она, прекрасно зная, что Настька для меня значит, все равно не остановилась, внутри начинает нестерпимо гореть, словно мне действительно всадили нож в спину по самую рукоять.

– Настя, скажи все, как есть. Просто скажи и всё!

– Просто сказать? – вырывается у нее смешок сквозь слезы. – Просто, да? Щелк и вуаля.

– Не придирайся к словам!

– Ах, не придираться!

– Бл*дь, что я сейчас должен сделать? Что ты от меня хочешь? – не выдержав, едва не взвываю, как стая оборотней на луну.

– Ничего! – кричит она в ответ. – Ничего от тебя не хочу. Все, что хотела, ты благополучно проигнорировал, а теперь уже не надо, просто оставь меня в покое. Видеть тебя не могу!

– Я хочу знать, что произошло! – цежу сквозь зубы, сжимая опухшими пальцами спинку кровати. Выдержка и терпение заканчиваются, хоть я и понимаю, что заслужил все это, и Настька имеет полное право отрываться на мне, как ее душе угодно.

– Да что ты говоришь?! – выплевывает она меж тем со всей злостью. – А у меня для тебя новость: мне глубоко похер, чего ты хочешь! С какой вообще стати? Ты кто такой, чтобы я тут перед тобой себя наизнанку выворачивала?

– Я – отец твоего ребенка! Хватит уже! – доведенный до точки кипения, обрываю ее.

– Отец? Ты – отец? – издевательски уточняет она и заливается наигранным хохотом. Правда, смех быстро сменяют слезы, от которых все внутри сжимается в тугую, раскаленную пружину. А следующие слова, полные горечи, бьют наотмашь. – Ты отец для детей своей жены. А у моего ребенка отца не было, иначе мой малыш… мой малыш, – задрожав, прикусывает она губу, я же тяжело

сглатываю и отвожу взгляд.

– Он был бы жив, – заканчивает она и сдавленным шепотом, будто у самой себя, спрашивает. – Что ты хочешь узнать? Какой уже смысл в правде? Что изменится, если я расскажу, как, расставшись с тобой, узнала, что уже на третьем месяце беременности и чуть не сошла с ума от ужаса? Я так испугалась, что даже подумывала об аборте, но потом…

Она всхлипывает и зажмурившись, будто превозмогая боль, качает головой. А у меня внутри все холодеет, ибо видеть ее такой, представлять, каково ей было в одиночку справляться со всем этим, невыносимо.

–Я не смогла, – продолжает она, не обращая внимания на бегущие по щекам слезы. – Это ведь мой… наш малыш. Я не смогла его убить. А теперь… Какой смысл рассказывать, как я обрывала твой телефон, как писала с разных номеров, искала встречи и даже ездила к твоей сестре, просила о помощи?

– Она все знала? – выдавливаю ошарашенно, охренивая, просто охренивая с того, насколько Зойка мразь.

– Да, она все знала, и спокойно передала меня в руки Можайскому после побега. А тот, знаешь ли, не церемонился: пинал прямо в живот, топил в бассейне, обещал отдать охране…

Она перечисляет все, что с ней делали, а у меня волосы дыбом. Содрогнувшись, зажмуриваюсь, но перед мысленным взором, будто кадры киноленты все, что произошло. Меня скручивает от боли и шока. Я смотрю на мою девочку, и едва могу дышать.

– Не знаю, каким чудом малыш выжил после тех побоев, но это случилось, и я согласилась на все условия, только, чтобы сохранить это чудо, – пробивается сквозь оцепенение, переполненный горечью голос. – Мне почти удалось, пока Елисееву не взбрело в голову, что победа будет неполной, если он не трахнет твою бабу. И знаешь, мне казалось, я смогу с ним спать, и даже соврать, если понадобиться, что это его ребенок. Но нет, даже ради малыша не смогла, потому что продолжала любить тебя. Несмотря ни на что, любила, ждала, надеялась… Я каждую ночь тебя звала, каждую гребанную ночь. Понимаешь ты это или нет? Ты был моей единственной надеждой! У меня ведь больше никого не было,

Серёжа. Никого, кроме тебя! – разрыдавшись, срывается она на крик, а я не выдерживаю, бросаюсь к ней, прижимаю к себе ее содрогающееся тело и лихорадочно шепчу, покрывая поцелуями:

– Прости меня, маленькая. Пожалуйста, прости меня! Ради бога, прости!

Я глажу ее дрожащие плечи, целую волосы, вдыхаю ни с чем несравнимый запах, и меня трясет, как припадочного. Понимаю, что ей мое соплежуйское «прости» нахрен не нужно, но я не знаю, что сказать. Не знаю, как облегчить эту агонию, выворачивающую наизнанку все нутро.

В это мгновение я не просто умозрительно, а всем своим существом, каждым нервом ощущаю все, что прожила моя девочка.

Никогда не думал, что может так болеть. Что бывает такая невыносимая, ломающая с хрустом, беспомощность. Точнее, я ее всегда презирал. Смотрел на чмырей, которых нагибали, наказывая через жен и детей, и думал, что это какие-то насекомые, а не мужики, не сумевшие защитить свое – родное.

Теперь же в полной мере ощущаю, каково это – быть насекомым, который ничего не смог сделать, когда его беременную женщину какой-то ушлепок заставлял отсосать, а после выкинул из машины на полном ходу.

Когда Настя, захлебываясь слезами, рассказывает, как ползала в ногах у Можайского, истекая кровью, и умоляла его вызвать ей скорую, я малодушно хочу сдохнуть. Прямо сейчас, прямо здесь, ибо ползать там рядом с ней, не в силах спасти и помочь, это бл*дски невыносимо.

Раньше я не верил, что чью-то боль, пусть даже самого близкого человека, можно прочувствовать не сторонним наблюдателем, а прожить вместе с ним. И что эта боль страшнее собственной. Мне – законченному эгоисту все это казалось красивыми байками. Я не знал, что женщину можно любить до исступления, до какого-то самоотречения, когда выходишь за рамки своего эгоизма, и в тебе, наконец, просыпается человек. Именно человек, а не та эгоцентричная тварюга, которую принято так называть. До Насти я только ради детей мог наступить на горло собственной песне, со Сластенкой же во мне открывались такие грани, которые претили всему во что я верил и чем жил. Она стала той сокровенной частью меня, которую хотелось спрятать даже от себя

самого. Ибо слишком трепетно, крайне уязвимо и до дрожи всеобъемлюще. Раз заденешь и уже никогда не оправишься. Вот только мое самое дорогое не просто задели, над ним надругались в самой извращенной, жестокой форме. И теперь эту потерю, отчаяние и боль невозможно ни выплакать, ни выкричать, ни как-либо унять.

Я до хруста сжимаю мою, умирающую от горя, девочку в пустой надежде хоть как-то облегчить ее страдание, но чувство, будто руки у меня переломаны. Нет в них ни силы, ни поддержки, ни утешения.

Не знаю, сколько проходит времени, прежде, чем Настя затихает и высвобождается из моих объятий. Она откидывается на подушки, переводит пустой, невидящий взгляд прямо перед собой и горько резюмирует:

– Знаешь, каково это, Серёжа, терять то, за что бился изо всех сил и понимать, что все твои жертвы, предательства, унижения – все зря, в них не было никакого смысла?

Я так же горько усмехаюсь.

Знаю, маленькая. Теперь знаю, ибо, выиграв почти все битвы в своей жизни, в итоге проиграл главную войну. И этого не изменить, не исправить. Сорок лет в никуда.

– Уходи, Серёж, – словно прочитав мои мысли, просит она. – В этих разговорах нет никакого смысла. Мне не легче видеть тебя таким. Я тебя слишком люблю, чтобы испытывать удовлетворение от твоей боли. Мне бы со своей справиться.

– Настюш… – пытаюсь сказать, что вместе мы могли бы попытаться, но она не позволяет.

– Молчи, – просит шепотом, качая головой в попытке сдержать вновь подступившие слезы. – Не говори ничего. Просто оставь меня одну. Хотя бы это ты ведь можешь для меня сделать?

Это был тот самый – контрольный в голову. Застываю и не могу вздохнуть, не говоря уже о том, чтобы что-то ответить. Да и что сказать?

Нет таких слов. Не придумали и не придумают никогда, как не научились воскрешать мертвое. А между нами в это мгновение что-то неотвратимо умирает.

Я смотрю на лишенное всяких красок и эмоций любимое лицо, и едва сдерживаю желание упасть ей в ноги, и как ребенок просить не прогонять меня, не отгораживаться, дать последний шанс. Но я так же, как и она, слишком люблю, чтобы обременять ее еще и этим. Поэтому, как бы трудно не давался каждый шаг, но я его делаю. Сцепив зубы, выхожу из палаты и, словно сомнамбула иду к машине.

– Поехали. Скажи охране, чтобы дежурила у палаты, – хриплю, садясь на заднее сидение.

– Куда? – уточняет Гридасик.

– Просто поехали, – последнее, что удается выдавить прежде, чем горло перехватывает спазм, а глаза разъедает солью.

Закурив, смотрю невидящим взглядом на пролетающий за окном город и чувствую, как по щекам медленно ползет мое бессилие.

Мужики не плачут – так нас учат с детства. Только, наверное, стоило добавить: «пока жизнь не поставит их на колени». Меня она даже не поставила, она их перебила, раздробив к х*ям.

Прокручиваю в голове раз за разом рассказ моей Настьки и захлебываюсь безысходностью, как мальчишка.

Что я там говорил? Сопля она?

Нет. Сопляк и слабак здесь я. А она – сильная девочка, которой просто не повезло влюбиться в конченого мудака и родиться у мамаши – мрази.

Вспомнив про Можайских, самобичевание сменяется звериной злобой, и я понимаю, если сейчас не отвлекусь, просто поеду и вышибу мозги сначала Зойке, а после ее подельничку – Елисееву. Пусть у меня до сих пор в голове не

укладывается, как можно настолько оскотиниться, чтобы, мало того, собственного брата едва в могилу не загнать, так еще и матерью божиться, но в том, что Настька не врет, я даже не сомневаюсь. Это ложится огромной тяжестью на сердце.

К тому, что придется убирать сестру, морально я не готов, но и оставить без ответа такое кидалово, да простит меня мама, не могу. Если бы дело касалось только меня, я бы может и пожалел, но Зойка выбрала путь крысы и била исподтишка по самому моему слабому месту, уверенная, что я не узнаю; что ей удастся усидеть на двух стульях и в нужный момент принять сторону победителя.

Х*й ты угадала, сестрица! И как всегда, забыла, кто голова, а кто – шея.

Руки так и чешутся взять глок, и всадить всю обойму в шкуру этих продажных тварей, но нельзя. Слишком легкая это будет смерть. А я хочу, чтобы каждая из этих мразей в полной мере ощутила все то, что прожила моя Настька. Чтоб так же от боли и отчаяния на стены лезли.

И я устрою этим сукам! Такое адово представление устрою, что они у меня сами в петлю полезут. Но сейчас надо взять себя в руки.

– Гридасик, поехали нажремся, а то наворочу дел.

– К Тамаре? – только и уточняет Гриня, разворачивая машину.

– Не, ну, ее на хер. У бабы недо*б, а у меня своих проблем хватает, чтоб еще от нее отбиваться. Давай, по-басяцки. Или может, оприходуешь ее?

– Вот уж, нет, – открещивается Гридасик со смешком. – Я с чужими женами не сплю – это моя принципиальная позиция. Пятнашку отмотал из-за такого ухаря.

–Точно, – вспоминаю, ненадолго выплывая из своего тотального п*здеца. – Тогда в магазин. Водяры какой-нибудь нормальной купи пару бутылок, ну и там ченить еще к ней.

– Тебе бы плечо обработать, Серёг, – кивает он на темное пятно на толстовке.

– Х*й с ним, – отмахиваюсь. – Спиртягой залью, до утра потерпит.

Где-то через полчаса мы сидим у костра на берегу реки в какой-то роще и, молча, глушим водяру, глядя на звезды.

Романтика, бляха-муха. Хорошо, если бы не так х*ево.

– Слушай, Серёг, – вдруг нарушает стрекотание сверчков Гридас. – Это, конечно, не мое дело, но в стороне все равно оставаться не получается.

– Ну, говори, раз не получается, – закурив, даю добро на непрошенные советы. В конце концов, какая разница, чем затуманить голову, водка не очень-то и спасает от душевных терзаний.

– Ты бы оставил эту свою гордость и шёл к ней.

– Какая гордость, Гридасик?! Какая гордость?! – смеюсь обреченно. – Я бы у нее в ногах валялся, если бы… – отмахиваюсь, не видя смысла что-то объяснять и, намахнув стопарь, заключаю. – Это не тот случай.

Гридас усмехается.

– Тот не тот, Серёг, а она все равно ждет. Это я тебе гарантирую. Я, когда в тюрягу попал, три года ждал Анжелку на свиданку. Пусть шалава, тварь и сука, а я ее все равно ждал. Выгнал бы, если бы пришла, но потом снова бы ждал, потому что любил сильно, несмотря ни на что. Эта девочка тоже тебя любит, Серёг, и что бы там ни говорила в порыве гнева, ждет, что ты будешь рядом.

Я хмыкаю, поражаясь красноречию Гридаса, и опрокидываю в себя еще сто грамм.

– Это все, конечно, красиво звучит, – заключаю, поморщившись. – Но есть такая боль, Гридас, которую нельзя разделить с кем-то и нужно прожить наедине с собой.

– Х*йня! Нет такой боли. Рядом с тем самым человеком со временем утихает любая. Поэтому возьми себя в руки и иди, валяйся у нее в ногах, пусть она гонит

тебя, пусть лупит по самым больным местам. А ты терпи. Дай ей эту возможность выплеснуть все, что у нее наболело, ты ей сильно задолжал.

Что ж, надо признать, пожалуй, Гридас был прав. Мы еще много, о чем говорили той ночью, легче не становилось, но зато не хотелось вскрыться или перестрелять всех сук к чертовой матери.

На утро было хреново, но неимоверным усилием воли я взял себя в руки и решил сконцентрироваться на деле – на всей этой п*здобратии, решившей, что я уже сбитый лётчик.

Я крутил ситуацию так и сяк, и в конечном счете понял, что от первоначального плана – продажи акций за рубеж придется отказаться, если я хочу, как следует, прижать этого гандона Елисеева и сестрицу с ним заодно.

Придется спеться с Семибанкирщиной, которая сейчас активно поддерживает Елисеева. Но, если я им напрямую предложу сделку, то надобность в этом линялом гамадриле отпадет. В конце концов, зачем им делиться еще и с ним? Безусловно, в сравнение с тем, что я поимел бы с продажи акций заграницу, сделка с этой шайкой-лейкой мне совершенно невыгодна. Но никто, никакая сука в этом мире ни за какие деньги не останется безнаказанной за то, что посмела тронуть мою Настьку и нашего ребенка!

В общем, план у меня был готов. Оставалось только воплотить его в жизнь, а вот с этим были сложности, учитывая мое положение беглого преступника. Надо было поднимать связи, старые каналы, чтобы без палева выйти на нужных мне людей. Начал я с Зойкиного муженька, напомнив ему, что его новая семейка у меня под присмотром. Зятек без лишних препирательств готов был сделать все, что угодно, он и сам, по всей видимости, мечтал избавиться от Зойкиного ига, да не знал как. Но пока было достаточно следить за сестрицей и продолжать играть любящего мужа. Следующим на очереди был Елисеевский сынок. Парня, конечно, было жаль, он ни в чем не виноват и не заслуживал того, что с ним должно было вскоре произойти, но напрашивался легитимный вопрос, а в чем была виновата моя Настька? Поэтому, как говорится, дашь на дашь. Елисеева необходимо было встряхнуть и выбить из колеи.

Вскоре работа кипела, спасая меня от бесконечного потока мыслей, безысходности и вины. Однако, вечерами, когда я возвращался в наше

временное пристанище, они возвращались с еще большей, яростной силой, стоило только встретиться с пустым взглядом зеленых глаз.

Она ничего не говорила, вообще делала вид, что меня не существует, а я, как ни старался, не мог найти в себе сил нарушить эту тишину, повисшую между нами тяжким грузом.

Глава 3

«Никому и никогда не испытать чужую боль, каждому суждена своя.»

К. Макколоу «Поющие в терновнике»

Он снова заявился под утро и, судя по не стройному скрипу половиц, опять выпивший. Каждая его провальная попытка ступать, как можно осторожней, будто наждачкой проезжается по моим натянутым нервам.

Втягиваю с шумом воздух и комкаю в руках пододеяльник, силясь сдержать вспыхнувшую злость, но Долгов, обронив что-то и смачно выругнувшись, сводит мои попытки на «нет».

Откинув пододеяльник, подрываюсь с кровати и спешу в прихожую. В конце концов, сколько можно?! Уже третью неделю одна и та же песня.

С момента моей выписки из больницы мы постоянно переезжаем с места на место, не задерживаясь нигде больше двух дней, и все эти две с лишним недели Долгов куда-то отлучается, возвращаясь только под утро, а то и вовсе не появляясь, пока не приходиться вновь переезжать. Из обрывков разговоров я поняла, что он отнюдь не развлекается, и поначалу меня вполне устраивал такой расклад. Мне не хотелось с ним лишний раз пересекаться. Его взгляды, полные вины и раскаяния, душили, а осторожность и трепет, словно я – хрустальный цветочек, который вот-вот рассыплется, доводили до бешенства. В такие моменты я вспоминала нашу, лишенную всяких церемоний, встречу и едва сдерживалась, чтобы не разорвать Долгова на куски.

Он действовал на меня, словно красная тряпка: что бы ни говорил, ни делал, как бы ни смотрел, да даже просто дышал, я все равно бесилась.

Однако, стоило ему свести наш контакт к минимуму и, я вместо того, чтобы облегченно выдохнуть, окончательно потеряла покой. Разумом понимала, что это клиника какая-то, но ничего не могла с собой поделать. Меня раздражало присутствие Долгова, но и без него я не могла.

Так не могла, что едва на стены не лезла. Внутри что-то нарастало, как снежный ком, искало выхода, и молчать не получалось.

– Долго это будет продолжаться? – резко ударив по выключателю, срываюсь на Долгова, рыскающего по полу в поисках валяющегося неподалеку телефона.

Серёжа поднимает на меня удивленный взгляд, который тут же сменяется чем-то таким, отчего по коже пробегает озноб.

Только сейчас вспоминаю, что на мне едва прикрывающая трусики футболка и, сидя на корточках, Долгов смотрит, аккурат, под нее. У него на лице проступает похоть, меня же, будто кипятком ошпаривает изнутри. Смутившись, растерянно хлопаю ресницами, как дура, не зная, то ли прикрыться, то ли что вообще сделать.

Господи, Настя, ты серьезно?! – поражаюсь самой себе и этой абсолютно – неуместной реакции. Я и думать забыла о чем-то подобном. После всего случившегося казалось, никогда больше не смогу почувствовать себя женщиной, а теперь, будто обухом по голове.

Стыдно и так злит, что меня буквально начинает трясти, особенно, когда Долгов, нехотя, отводит голодный взгляд и хриплым, севшим голосом выдавливает:

– Извини, маленькая, разбудил тебя.

Он начинает по-пьяному неуклюже собирать разлетевшийся на части телефон, а я вскипаю еще больше.

– Как будто я могу спать после всего, что пережила, – цежу сквозь зубы, сама, не зная, зачем.

Я не хочу, чтобы он чувствовал себя еще более виноватым, просил прощение или неловко, как сейчас, предлагал подыскать хорошего психотерапевта, который помог бы справиться с ПТСР. Ничего из этого мне не надо.

Да, я действительно не могу спать по ночам, но только потому, что его нет рядом. Как только он уезжает, я себе места не нахожу. Мне страшно, тревожно, жутко. Я верчусь в кровати с боку на бок, вскакиваю каждые десять минут, проверяю замки, скачу по окнам в надежде, что не придется ждать всю ночь. Мне так беспокойно, что не спасает ни работающий телевизор, ни включенный повсюду свет, ни куча охраны, расставленная вокруг дома и периодически спрашивающая, все ли у меня в порядке. Я боюсь. Ужасно боюсь. За Долгова, за себя, всего вокруг. И сколько ни привожу разумных доводов, а все равно не чувствую себя защищенной.

Только, когда слышу его уверенный голос и энергичную поступь, меня отпускает, и получается расслабиться. Но я ни за что не смогу признаться ему, что нуждаюсь в нем; что мне без него страшно, хотя по сути бояться его я должна не меньше, чем всех остальных. Но, видимо, я из тех жалких, любящих вопреки, терпил, которым действительно не помешала бы помощь психотерапевта. Эти мысли растравливают мою злость еще сильнее, и я остервенело обрушиваю ее на Долгова.

– Так что? Сколько еще я должна таскаться за тобой по деревням и весям? И с какой вообще стати? Мне делать что ли больше нечего, как только круглыми сутками сидеть тут и ждать у моря погоды?! Я так-то в жены декабриста не нанималась, тем более, что вакансия уже занята.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/raevskaya_polina/paranoyya-pochemu-my

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить